

Странники войны

Богдан Сушинский



секретный фарватер

Секретный фарватер (Вече)

Богдан Сушинский
Странники войны

«ВЕЧЕ»

2015

Сушинский Б. И.

Странники войны / Б. И. Сушинский — «ВЕЧЕ»,
2015 — (Секретный фарватер (Вече))

Военно-приключенческий роман «Странники войны» известного писателя, лауреата Международной литературной премии имени Александра Дюма (1993), Богдана Сушинского посвящен событиям 1943–1944 годов. В центре разворачивающихся событий – «диверсант номер один» Третьего рейха Отто Скорцени. Именно он принимает непосредственное участие в подготовке и заброске в Советский Союз двух террористов, которые должны совершить покушение на Сталина, и готовит двойников для Адольфа Гитлера и Евы Браун. Роман отличаются широта охвата исторических событий, насыщенность малоизвестными или совсем неизвестными фактами о деятельности фашистского «спецназа» и контрразведки, интригующие повороты сюжета.

© Сушинский Б. И., 2015

© ВЕЧЕ, 2015

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	9
3	12
4	14
5	17
6	19
7	22
8	24
9	27
10	30
11	32
12	34
13	38
14	39
15	41
16	43
17	46
18	50
19	52
20	54
21	58
22	61
23	63
24	67
25	69
26	71
27	74
28	77
29	79
30	80
31	83
32	85
33	88
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Богдан Сушинский

Странники войны

© Сушинский Б.И., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015

* * *

*Роковая неизбежность всякой борьбы за власть в том и состоит,
что патроны, которые вы сэкономили на врагах своих, рано или поздно
приходится расходовать на самих себя.*

Автор

*Пусть Бог даст вам цели, безразлично какие.
Гейббельс*

Часть первая

1

Скорцени опустошенно вздохнул и устало запрокинул голову на спинку кресла. Только что он закончил беседу с очередным русским диверсантом из специальной, особо секретной группы «Россия-центр», курсанты которой должны были совершить покушение на Сталина.

Это был третий агент подряд, беседы оказались изнуряюще монотонными и больше напоминали предварительные допросы в следственной камере гестапо, нежели общение с давно завербованными агентами, успевшими пройти через разведывательно-диверсионную школу «Зет-4» и «фридентальские курсы».

Настроение у штурмбаннфюрера СС становилось все более мрачным. Ему, как божий день, было ясно, что ни один из этих троих агентов для выполнения сверхсекретной акции в Москве не готов. Нет, относительно технической подготовки диверсантов особых претензий у Скорцени не возникало. В конце концов, воспользоваться замаскированной под комок грязи миной¹, которая должна сработать под машиной Сталина, сумел бы даже законченный идиот.

Не сомневался Скорцени и в том, что пленные ненавидят «вождя всех времен и народов», поскольку у них были на то веские причины. Не зря же они принадлежали к тому незначительному числу агентов, которых даже не пришлось вербовать: они сами – в разное время и в разных лагерях – обратились с просьбой направить их в разведшколы. Вряд ли на такой шаг решился бы подосланный в лагерь агент НКВД. В Москве прекрасно понимали, что добровольцев проверяют особенно тщательно. Никто не вызывает такого подозрения у разведслужбы, как человек, добровольно напрашивающийся в агенты...

Суть несогласия Скорцени с кандидатурами этих смертников, внутреннее отторжение их заключались в ином. Все это были люди без... диверсионного куража. Без полета фантазии. Без отчаянной уверенности в себе и своем призвании диверсанта. Жалкие исполнители, они, оказавшись на вражеской территории, станут заботиться не столько о выполнении задания, сколько о спасении своей шкуры. Они и выполнять-то задание будут исключительно из страха. А в понимании Скорцени подобные людишки недостойны даже его презрения.

Штурмбаннфюрер медленно поднялся из-за стола и еще какое-то время выжидающе смотрел на бронированную дверь комнаты. Ему все казалось, что она вот-вот откроется и наконец-то появится тот, кого он со спокойной совестью сможет послать хоть в Москву, хоть в Лондон.

«Однако сомнения сомнениями, а Кальтенбруннер ждет твоего доклада, – сказал он себе, поняв, что никто из-за этой двери уже не появится и все ожидания напрасны. – Эти трое отобраны из двадцати отборных. Так что прикажешь делать? Откладывать операцию и готовить новых агентов? Но их еще нужно подыскать, проверить и подготовить, чтобы в конечном итоге они опять попали к тебе. И ты увидел перед собой то же самое, что видел только что... – с безысходной мрачностью улыбнулся Скорцени. – К тому же неясно, что ты можешь сказать обергруппенфюреру, что эти трое, как говорят русские, «рылом не вышли»? Не смотрятся на строевом плацу? О кураже не позаботились? Так иди и подбирайся к Сталину сам...»

Скорцени почти механически нажал кнопку скрытого в столе магнитофона, пленку которого уже успел перемотать.

¹ Факт подготовки группы, которая должна была совершить покушение на Сталина с использованием мины, замаскированной под комок грязи, засвидетельствован, в частности, в воспоминаниях бригаденфюрера СС, начальника управления зарубежной разведки Главного управления имперской безопасности Вальтера Шелленберга.

– Нам известно, что вы были знакомы с механиком из гаража Сталина, – услышал он собственный голос, казавшийся ему голосом двойника из потусторонней жизни, слышать который Скорцени было непривычно и неприятно.

– Это правда, я был знаком с ним. Не знаю, возможно, Сталин успел сменить механика... Я ведь попал в плен в ноябре 42-го.

– Не сменил. Это проверено. Вы часто встречались с этим механиком, бывали у машины Сталина? Знаете маршруты, по которым Сталин ездит с дачи в Кремль?

– Знаю, конечно. Чего ж не знать? Дело это секретное, но под разговор... Да и машина приметная. Неужели зашлете меня, чтобы?..

– У нас всего лишь предварительный разговор, – недовольно избавил его от излишнего любопытства Скорцени. – Мы выясняем связи каждого из агентов, чтобы, исходя из них, оценить возможности. Это и определит судьбу каждого из вас, любимцы смерти.

– Определить надо, без этого нельзя, – растерянно проговорил агент.

Скорцени выключил магнитофон и, поиграв желваками, поднялся. Решившись забраковать агента Аттилу, он на какое-то время упустил из виду то уникальное преимущество, которое Аттила имел перед сотнями других возможных претендентов на право послать к праотцам вождя мирового пролетариата. В руках бывшего младшего лейтенанта Георгия Кондакова находилась нить, позволяющая ему хоть в какой-то степени приблизиться к одному из доверенных лиц Сталина, к механику гаража, а значит, и к машине.

По существу он, Скорцени, должен быть признателен офицерам, сумевшим выудить такого человека из доброй сотни других агентов, из тысяч и тысяч военнопленных. Уж кто-кто, а «первый диверсант рейха» прекрасно понимал: чтобы ухватиться за такую ниточку, иногда приходится жертвовать несколькими агентами, затрачивать массу времени и денег. Но и в этом случае очень часто все заканчивалось провалом, поскольку за каждым доверенным лицом вождя следят десятки других лиц – еще более доверенных. И интерес к ним со стороны «случайных любопытствующих» никогда не бывает случайным.

«Если я не соглашусь с кандидатурой Кондакова, тогда какими же преимуществами должен обладать человек, которого я собираюсь назначить командиром диверсионной группы, направляемой для уничтожения Сталина? – мрачно спросил себя Скорцени. – Забраковав “знакового” механика из сталинского гаража, тебе остается только одно – самому занять его место. Но учти: ты – со своей внешностью, незнанием языка и страны – продержишься в Москве не более часа».

Штурмбаннфюрер еще раз прошелся по комнате и вернулся к столу. На лежащий там карандаш он посмотрел с такой яростной решительностью, словно на пистолет, выстрелом из которого решил подвести черту под своей далеко не монашеской жизнью. Схватив его, Скорцени вывел, словно нажал на курок: «Агент “Аттила” (младший лейтенант Кондаков) – командир группы». Кого из двух оставшихся агентов введут в подчинение Аттиле – это Скорцени уже не интересовало.

Но даже окончательно дав добро, штурмбаннфюрер все же не испытывал удовлетворения своим выбором.

– Лагерники, – произнес он вслух то единственно верное определение, которое до сих пор не давалось ему.

Ни один из этих людей не способен возвыситься до диверсионного рыцарства. На каждом из них в той или иной мере осталась печать угрюмого, обреченного лагерника.

Лагерная психология обреченности – вот чего не удалось вытравить из психики своих курсантов инструкторам обеих разведывательных школ! Ни в одном из диверсантов, с которыми он успел побеседовать, Скорцени так и не усмотрел истинного профессионала. В них нет даже задатков того ореола диверсионной элиты, с которым уходят на задание Виммер-Ламквет,

Штубер, да, очевидно, и тот же Беркут. Кстати, вот кого бы отправить на подмосковную дачу вождя пролетариата...

2

Отто Скорцени уже собирался уходить из этого чистилища диверсантов, когда к нему неожиданно заглянул Кальтенбруннер.

– Знаю, знаю, штурмбаннфюрер, сейчас вы заявите, что ни один из ваших русских до Сталина не дойдет. Даже если их усадить на планеры, а всеми любимого вождя Кобу поместить на вершину Аbruццо.

– Уж там-то они, любимцы смерти, до Кобы действительно не доберутся, – спокойно признал штурмбаннфюрер.

– Ревнуете. Вот что значит взойти на вершину славы, Скорцени! Стоит только оказаться на ней, как сразу же начинаешь подозревать, что все вокруг собираются потеснить тебя. Не повторяйте ошибок Гейдриха.

Скорцени взглянул на обергруппенфюрера с откровенным любопытством. Упоминание имени предшественника Кальтенбруннера на посту шефа Главного управления имперской безопасности показалось ему довольно рискованным. Во всяком случае, «уроки Гейдриха» более уместно извлекать самому Кальтенбруннеру.

– Вам, обергруппенфюрер, я уступлю любую вершину, – Скорцени произнес это слишком серьезно, чтобы насторожившийся Кальтенбруннер смог заподозрить его в иронии. Эти слова прозвучали как клятва, которую Скорцени не постеснялся бы повторить. Он прекрасно понял, на что намекает Кальтенбруннер.

Отто знал, какой неукротимой завистью пылал когда-то Гейдрих. Как жестоко страдал этот сильный, волевой человек из-за зависти к успехам всех, кто только мельтешил перед ним – Риббентропа, Геринга, Геббельса... Как из-за зависти по поводу постов и славы он, по существу, возненавидел Канариса и даже своего покровителя – Гимmlера.

Конечно, к вершине славы, к вечному первенству Скорцени стремился не в меньшей мере, чем когда-то Гейдрих. Ради них он и совершал все то, что сумел совершить. Однако не собирался превращать свою жизнь в сплошной ад терзаний. В стенах СД до сих пор помнят зловещую фразу, оброненную когда-то Гейдрихом: «Своих врагов я намерен преследовать до самой могилы».

Но это сказал Гейдрих. Скорцени не желал повторять его роковую ошибку – в этом Кальтенбруннер мог быть спокойным.

«Первый диверсант рейха» предпочитал вообще не преследовать врагов. Он попросту старался не замечать их. Брезгливо не замечать, что убивало некоторых его противников вернее яда или пули. Но если уж его ставили в такие обстоятельства, когда не преследовать становилось невозможно, начинать он предпочитал с того, чем Гейдрих собирался завершать, – с могилы.

Понимал ли это преемник Гейдриха Эрнст Кальтенбруннер? Наверняка понимал. Или по крайней мере улавливал тенденцию.

И когда Кальтенбруннер своим полувнятным голосом проклокотал: «Верю, уступите» – это была не просто фраза. За ней стояла уверенность в слове «самого страшного человека Европы».

– Но есть еще одна вершина, которую мы можем взять только вместе, обергруппенфюрер.

– Вместе берут только одну вершину – вершину власти. Высшей власти в рейхе. Вы ее имеете в виду?

Скорцени рассмеялся. Он смеялся так, что Кальтенбруннер взглянул на него с опаской: уж не рехнулся ли?

– Вынужден разочаровать: я не рвусь к власти. Всего лишь спросил, – запоздало начал оправдываться Кальтенбруннер. И прозвучало это настолько унижительно, что вызвало у Скор-

цени новый приступ смеха. До сих пор обергруппенфюрер вообще не слышал, чтобы Скорцени когда-либо хохотал. Теперь он знал, что самое страшное, чего можно ожидать от «самого страшного человека Европы», – его смех. Источаемый офицером с таким свирепым лицом и таким убийственно холодным взором, он и сам становится убийственным.

– Что такое высшая власть в рейхе, Эрнст? – Кальтенбруннер так и не заметил, когда маску смеха сменила застывшая, цвета посеревшего гипса маска презрительной ненависти. – Высшая власть в рейхе – это не вершина, а падение. Достигнув высшей власти в рейхе, мы с вами, обергруппенфюрер, достигнем не славы, а бесславия.

– Так к чему же вы стремитесь, Скорцени? К чему вы тогда стремитесь?

Штурмбанифюрер задумчиво посмотрел в окно. Он не любил предаваться философским рассуждениям. Не будь его собеседником Кальтенбруннер, он попросту прервал бы этот разговор.

– Хочу завершить свой путь так, чтобы потом обо мне сказали: «Это был человек с профессиональной хваткой и фантазией Шекспира».

– Поскольку всегда был «любимцем смерти», – теперь они рассмеялись вдвоем.

– Когда я смотрю на элиту Третьего рейха, равно как и на верхушку заповедника коммунистического еврейства – СССР, то с ужасом думаю о том, до какой же степени многие партийные и государственные бонзы лишены элементарной фантазии. Я не могу так жить. Не желаю жить так, как живут они. Вот почему не стремлюсь к высшей власти. Маниакальный комплекс «первого Гейдриха империи» меня не привлекает.

– «Первый Гейдрих империи», – оценил его юмор Кальтенбруннер. – Жаль, что вы не пустили гулять эту фразу еще при его жизни. И вообще жаль, что Гейдрих разворачивался в СД еще тогда, когда вы сражались на фронте. Пока вы в сорок первом шли на Москву, Гейдрих вовсю шел на Берлин – вот в чем несовпадение ваших жизненных линий. А мне интересно было бы видеть вас вместе рвущимися к Берлину. Из любопытства: кто первым дошел бы до звезды фюрера. Вы, Скорцени, если и не выиграли бы этот «заезд», то уж во всяком случае не проиграли бы.

«А ведь он совершенно не верит, что я не рвусь к власти и не стремлюсь стать первым человеком рейха. Хотя... сам-то ты в этом уверен разве на все сто?»

– Слава, к которой я стремлюсь, покоится на вершине профессионализма, – молвил он вслух. – Это когда самый отпетый и воспетый диверсант мира скажет: «Нет, такое мне не под силу. Такое было под силу только Скорцени. Но его уже нет. А кроме Скорцени на такое никто уже не решится». В нашем деле нужна не только отчаянная храбрость, но и отчаянная фантазия, господин обергруппенфюрер. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что вас окружают целые сонмища властолюбцев, совершенно лишенных фантазии. Лишенных настолько, что ни на что другое, кроме примитивной жестокости, зависти и еще более примитивной жажды власти, их уже не хватает.

Они стояли друг против друга: оба крепкие, рослые, уверенные в себе. Прошедшие суровую школу жизни и пробившиеся в высокие берлинские кабинеты из провинции, как могут пробиваться только очень целеустремленные люди. Шрамы на их суровых рожах, эти фетиши студенческих дуэлей напоминали их недругам о страшной метке, которую жизнь неминуемо оставляет на лицах и душах истинных воинов.

– А тем временем фюрер торопит, – резко изменил тему разговора Кальтенбруннер. – Ему надоело терпеть еще одного фюрера, пусть даже он находится в другом конце Европы.

– Было бы странно, если бы не торопил. Предлагаю послать двоих: Кондакова и Меринова. – Скорцени отобрал из кипы фотографии этих двоих и показал Кальтенбруннеру.

– Значит, только двое?

– Чем больше группа, тем меньше шансов на успех операции. У этих двоих почти одинаковые судьбы: оба отбывали ссылки в Сибири, куда сослали их отцов, а значит, привыкли

к самым худшим проявлениям русского климата, обладают достаточной выдержкой, ненавидят коммунистов... К тому же, несмотря на пленение, были неплохими солдатами. Особенно Кондаков, он же агент Аттила. Ему и стоит поручить руководство операцией.

– «Аттила»? Кличка внушительная, ничего не скажешь.

«Еще несколько минут назад ты готов был требовать, чтобы эти люди ни в коем случае не были включены в состав группы, – упрекнул себя Скорцени, – а теперь дичайшим образом расхваливаешь их. Странные метаморфозы...»

– Вы уверены, что, приземлившись на советской территории, они в тот же день не явятся с повинной?

– Я не всегда уверен в этом, даже когда засылаю в Россию убежденных национал-социалистов. Что уж тут говорить о русских? Такая это порода. Сами русские быют друг друга с величайшим остервенением, а пытаемся помочь им разжечь пламя их же ненависти – мгновенно ополчаются против нас. Или являются с повинной, любимцы смерти.

Кальтенбруннер вяло плюхнулся на стул, на котором еще недавно восседал приятель механика из сталинского гаража, и вздохнул с таким огромным облегчением, словно только что вырвался с большой глубины.

– В ваших интересах, Скорцени, чтобы эти ваши «любимцы смерти», как их там?..

– Кондаков и Меринов...

– ...Чтобы они во что бы то ни стало достигли гаража вождя всех времен и народов. А с повинной явились только к Богу. Если уж им не терпится повиниться.

– Им будет разъяснено это в самой доступной форме, – сурово ухмыльнулся Скорцени. Слова, сопровождаемые таким тигриным оскалом, воспринимались из уст Скорцени с особой «убедительностью».

3

Жизнь есть жестокое милосердие божье.

Автор

То, что эта, третья по счету казнь – не очередная «шутка» Штубера, Беркут понял еще в лагере². Понял по тому, как спешно формировали их группу, отбирая не по именам или номерам, а просто так, кто попадется под руку, на ком остановится взгляд...

И взгляд одного из охранников – так уж случилось, очевидно, не могло не случиться – вдруг задержался на нем. Может быть, потому, что выделялся ростом, крепким телосложением и слишком заметной неистощенностью... А может, почувствовал, что этот пленник сумел подавить в себе страх, что лицо его все еще излучает сдержанное солдатское мужество.

Да, еще вчера пленных вызывали по списку. И ясно было, что фамилии обреченных согласованы с начальством, что истребление проводится с истинно немецкой педантичностью. Сегодня же охранники вели себя так, словно получили приказ расстрелять энное количество заложников. Кого угодно – лишь бы их было двадцать четыре. По двенадцать на машину. Андрей оказался двадцать третьим. Немцы считали вслух, громко.

Охранники подхватывали «избранных» под руки и буквально выбрасывали из барака на улицу. Там их принимали полицаи, чтобы пинками и прикладами загонять в машину, проводя через плотный – плечо к плечу, штык к штыку – коридор вермахтовцев.

Оглушенный ударом в голову, чуть не потеряв сознание, Беркут взмолился по трапу, и конвоиры сразу же толкнули его в кузов, просто на головы сидящим. Пленные зашевелились, раздвинулись, давая возможность его телу прикоснуться к днищу. Но на него сразу же упал последний, двадцать четвертый обреченный. И Беркут почувствовал себя заживо погребенным, которого погребли в могиле не из земли, а из грешных тел.

Прошло несколько минут мучительного ожидания. Ожидания чего: движения машины, чуда, смерти? Просто что-то должно было происходить. Мир не мог замереть вместе с обреченными этого транспорта.

Немного поспорив между собой, охранники, наконец, закрыли борт и, сопровождаемая мотоциклистами, машина выехала за ворота лагеря. Уже выбарахтываясь из саркофага, сооруженного из человеческих тел, Беркут услышал, как кто-то из тех, оставшихся лагерных счастливиц, возможно двадцать пятый, покаянно прокричал им вслед: «Не обижайтесь, земели! За вами и наш черед!»

Голос этого храбреца вырвал лейтенанта из оцепенения и заставил сказать себе: «Держаться! Держаться!»

Никто из сидящих в машине не знал Беркута, и он тоже не знал никого. И были здесь военнопленные, были просто гражданские (в лагере один барак отвели для гражданских) – два старика и один подросток, которых и к партизанам-то не причислишь. К остальным Андрей не присматривался ни там, в бараке, ни во дворе, в «загоне», ни здесь. Теперь это уже было ни к чему.

Единственное, что привлекало его внимание – и раздражало, раздражало даже сейчас, за несколько минут до казни, – что обреченные или плакали, вопрошая: «За что?! Я же ни в чем не виновен?!», или наивно спрашивали: «Куда нас везут? Неужели расстреливать?!» Словно существовало еще какое-то мыслимое объяснение всего того, что происходило с ними сейчас.

² События, связанные с лейтенантом Беркутом, а также сержантом Крамарчуком и Марией Кристич, несколько смещены во времени и происходят в 1943 году.

* * *

Метрах в двухстах от лагеря машина остановилась. Один из немцев-мотоциклистов затянул задний борт брезентом – очевидно, в лагере просто забыли сделать это, – и теперь в машине наступил мрак, будто сама она уже стала могилой. А это лишь усиливало страх, панику, отчаяние.

«Жаль, что они успели опустить брезент раньше, чем удалось пробиться к заднему борту», – подумал Андрей, все еще инстинктивно протискиваясь к нему.

Он успел заметить, что «эскорт» состоял из четырех мотоциклов: два – впереди машины, два – позади. На каждом мотоцикле – по трое немцев. Пулеметы, автоматы. При таком «сопровождении» шансов на спасение почти не было.

И все же Беркуту казалось, что он мог бы решиться. В конце концов, что он теряет? Пять минут жизни взамен одного из тысячи возможных шансов на спасение? Это как раз неплохой вариант.

– Прекратить выть! – крикнул он так, что люди моментально притихли. – Ведите себя как мужчины!

– Ты хоть здесь не командуй, – грубо ответил кто-то, сидящий у него за спиной. – Ты же видишь: как скотину...

– Так вот, я хочу, чтобы мы не превращались в скотину! Умирать тоже нужно с достоинством! Как и жить.

– Посмотрим, что ты запоешь, когда поставят над ямой, – как-то жалобно всхлипнул тот же, по-бабьи плаксивый сиплый голос.

– Спокойно: я уже стоял над ней. Сегодня меня будут казнить в третий раз.

– Ну да? – недоверчиво проворчал сиплый.

– Дважды это делали еще до лагеря. Во дворе гестапо.

– Матерь Божья, как же это? – вздохнул где-то там, в своем закутке у кабины, старик. Беркут узнал его по беззубому шамканью.

– Да вот так вот... Было. Когда начнут выводить – поглядывайте на охрану. Может, появится шанс бежать. Если кто-то рискнет, бегите. Мы постараемся отвлечь. Но лучше всего – броситься врассыпную. В общем, действуйте исходя из ситуации. Нужно искать способ спасти свои жизни, а не причитать.

– Так ведь черта с два от них убежишь! – ответил тот же обреченный, который требовал «не командовать». – Нас первых везут туда, что ли? Это у полицейских еще можно... А эти все предвидели, все учли.

– И все-таки, если кому-нибудь удастся спастись, запомните: с этой партией был расстрелян лейтенант Андрей Громов. Он же лейтенант Беркут.

– Неужели тот самый?... – спросил кто-то после минутной заминки. Кажется, голос принадлежал подростку. Громов не видел его. – ...Что партизанами командовал?

– Тот самый. Командир партизанской группы. Постарайтесь, чтобы известие достигло любого партизанского отряда.

– Как постараться? Кто ж тут спасется?! – вновь запричитал все тот же плаксиво-сиплый голос. – Господи, спаси и помилуй! За что, Господи, спаси и...

4

...Короткие рукопашные схватки в вестибюле, коридоре и номерах отеля «Кампо Императоре». Испуганное лицо Муссолини, когда, вслед за Скорцени, он выходит из похожего на небольшой рыцарский замок здания и видит на лугу перед ним выстроенный батальон карабинеров. Тех, отборных карабинеров, которые вместо того, чтобы защищать своего дуче, – в верности которому еще недавно клялись, – превратились в его тюремщиков.

– Впрочем, тюремщиками они тоже оказались бездарными, – произнес Скорцени вслух то, о чем не сказал журналист, комментировавший все заснятое на пленку. – «Стадо трусливых баранов» – вот все, чего они достойны.

Однако сидевший рядом с ним Кондаков, которому только вчера присвоили звание лейтенанта вермахта, успел заметить, что и Муссолини чувствовал себя не храбрее. Он осматривал это обезоруженное воинство с таким страхом, словно его вывели перед ним для расстрела.

Когда фильм закончился, Скорцени молча покинул небольшой просмотровый зал, в котором курсантам школы обычно показывали учебные ленты, и зашел в небольшую комнату, где на стенах демонстрировались образцы стрелкового оружия русских, англичан и американцев. Через несколько минут туда же пригласили Кондакова.

– Мы сумеем поговорить без переводчика? – спросил его Скорцени, указав на стул по другую сторону стола.

– В общем-то я понимаю все, господин штурмбаннфюрер. Но говорить мне труднее.

– Главное для вас сейчас – понимать, – придиричиво осмотрел Скорцени лежавшую на столе между ними английскую автоматическую винтовку, с которой еще несколько минут назад инструктор знакомил диверсантов. – Говорить придется мне.

Скорцени повертел винтовку в руках, взвесил ее на ладони и вновь положил на стол.

– Вам представили меня как штурмбаннфюрера Шредера. Кажется, так? На самом деле перед вами штурмбаннфюрер Отто Скорцени, – первый диверсант Европы продолжал рассматривать изобретение английских оружейников, совершенно не интересуясь тем, какое впечатление произведет его имя на нововозведенного в офицерский сан диверсанта.

– Мне почему-то так и показалось, – взволнованно проговорил Кондаков. – Причем задолго до просмотра фильма.

– У нас с вами будет сугубо солдатский разговор, лейтенант. Я не зря показал вам эту «итальянскую комедию», снятую на вершине Аbruццо. Мне хотелось, чтобы вы и Меринов видели, как ведут себя во время задания диверсанты, для которых рейды в тыл врага стали их обычным занятием, их профессией. Кстати, вы первый из русских, кто имел возможность посмотреть этот фильм. До сих пор его показывали лишь в рейхсканцелярии да в «Волчьем логове».

– Я немало слышал об этом похищении, – Кондаков говорил медленно, с ужасным акцентом, однако словарный запас у него оказался вполне достаточным, чтобы беседа их все же состоялась.

– Вы бы согласились принять участие в подобной операции?

Несколько секунд Кондаков напряженно смотрел на Скорцени. Широкий, иссеченный красными капиллярами лоб, бледные шелушащиеся щеки, перхотные залысины, прорезающие почти всю короткую, со стесанным затылком голову... Вечно настороженные белесые глаза.

«Лагерник! – в который раз открыл для себя штурмбаннфюрер. – Не агент, не диверсант рейха – обычный лагерник. С рожей и психологией лагерника, каких мы с коммунистами тысячами наштамповали в наших и русских концлагерях для “врагов народа”, а также для военнопленных...»

– Вам понятен мой вопрос, лейтенант? – сурово уточнил он.

– Для этого нас и готовят. Как прикажете.

– Вас готовят прежде всего к тому, чтобы вы почувствовали себя настоящими диверсантами. Чтобы из «фридентальских курсов» вы выходили людьми, перед которыми будет трепетать не только Европа, но и весь мир. Вот к чему вас готовят здесь, в замке Фриденталь. А фильм показали для того, чтобы вы, наконец, воспрями духом, а не топтались у ворот Фриденталья, словно жертвенные бараны у ног палача. Вы, любимцы смерти!

Уже умолкнув, Скорцени с такой силой громыхнул винтовкой по столу, словно гасил в себе желание разрядить в Кондакова ее магазин. Впрочем, именно это желание он сейчас и гасил в себе.

– Я уяснил, уяснил... – нервно передернул плечами Кондаков. – Посылайте, куда нужно. Если только сможем – выполним.

Скорцени саркастически ухмыльнулся и разuverенно повертел головой: «Посылайте... Выполним, если только сможем...»

– Вы уже поняли, для какого задания мы отбирали и готовили вас?

– Как сказать...

– Так поняли или нет?!

– Сталина пришить? – неуверенно проговорил лейтенант, с надеждой глядя на штурмбаннфюрера, словно школьник, пытающийся угадать ответ по глазам учителя.

– Вот именно, агент Аттила: «пришить Сталина». Не какого-то там полковничиху тыловой службы изловить, не штаб дивизии фаустпатронами зашвырять, не цистерны считать, сидя в кустах у железной дороги Москва – Ленинград, а совершить акт возмездия. Совершить который мечтают миллионы ваших соотечественников – томящихся в сибирских концлагерях, сосланных, раскулаченных, чудом выживших после организованного коммунистами истребительного голода... И это поручается именно вам, лейтенант Кондаков, офицеру Русской освободительной армии, сражающейся под командованием генерала Власова.

– Меня перевели в РОА? – попытался уточнить Кондаков, однако штурмбаннфюрер не желал отвлекаться на какие бы то ни было объяснения, прерывать полет своей фантазии. Он убеждал. Он священнодействовал, как умел священнодействовать, возводя людей в свою диверсантскую веру, только он, Отто Скорцени.

– Это о вас через несколько дней заговорит избавившаяся от тирана Россия. О вас будут писать все газеты Европы. Вас, а не меня будут прославлять все церковные колокола христианского мира. Ваше имя – кто шепотом, оглядываясь, кто с надеждой и гордостью – станут произносить на всех континентах этого покрытого плесенью мира. Так чего же вы еще ждете от меня, лейтенант? – грузно поднялся «первый диверсант рейха» и, упершись кулаками о стол, навис над застывшим от удивления лейтенантом. – Что еще должен предложить вам забытый всеми Отто Скорцени, чтобы вы, наконец, воспрями духом и почувствовали себя командос, истинным командос, подвигами которого завтра будет восхищаться весь мир? Может, мне еще нужно похитить Сталина, привезти его сюда, как привез сюда Муссолини, и бросить вам на растерзание? Вы этого хотите, Кон-да-кофф?! – прогремел своим наводящим ужас голосом Скорцени.

Лейтенант вздрогнул и неуверенно, словно в ожидании удара, поднялся, представая перед Скорцени во всей своей костлявой тщедушности.

– Нет, вы приказывайте, лейтенант, приказывайте! Я должен привезти Кобу сюда и швырнуть к вашим ногам?... Однако я облегчу вашу задачу, – вдруг совершенно иным, убийственно спокойным тоном продолжил свою тронно-диверсионную речь король СС-командос. – Вам не нужно будет доставлять этого тифлисского недоучку-садиста, этого кремлевского лагерника Кобу с партбилетом ВКП(б) в Берлин. Гауптштурмфюрер Гольвер! – рявкнул он так, что даже затвор английской винтовки ходуном заходил.

– Здесь, господин штурмбаннфюрер! – возник на пороге пшеничноволосый верзила.

– Нет, Кондаков, вам не придется похищать вашего незабвенного марксистско-ленинского Кобу и везти его сюда, – словно бы не замечал появления гауптштурмфюрера Скорцени. – Я предоставляю вам право совершить возмездие прямо в России, на любом участке шоссе между Кремлем и его правительственной дачей в Кунцево. Подробности высадки в тылу большевиков, а также вашего прикрытия мы обсудим потом, а пока... Что вы смотрите на меня, Гольвег, словно нищий на миллиардера в ожидании подаяния. Где она?!

– Уже здесь.

– Так осчастливьте нас, дьявол меня расстреляй!

5

По тому, как немилосердно начало бросать машину, Беркут определил, что свернули на какую-то лесную каменистую дорогу, а значит – уже скоро.

И действительно, через несколько минут машина остановилась. Борт открылся, и пленным приказали быстро освободить кузов.

Еще с машины Андрей прощально взглянул на небо. Провисшее между двумя стенами высокого елового леса, оно показалось ему крышкой свинцового гроба. Кто-то из смертников, выходявших вслед за лейтенантом, нетерпеливо толкнул его под эту крышку, словно испугался, что закроется раньше, чем окажется под ее убийственным сводом.

Переводчика немцы не прихватили. Однако офицера это не смущало. Все, что он хотел выкрикнуть, он выкрикивал по-немецки, нисколько не заботясь о том, чтобы обреченные понимали его. Но они его все же понимали. Сейчас с ними говорили языком смерти, а он понятен всем. Точно так же, как понятны слезы или мелодия похоронного марша.

Оказавшись на земле, Андрей мигом оценил обстановку. Машины поставлены с двух сторон, задними бортами к углам ямы. Впереди уже выстроилось отделение палачей. По ту сторону стояло пятеро изможденных пленных с лопатами в руках. Они выкопали эту яму, им же предстояло и погребать своих собратьев по судьбе. Смертникам они казались счастливыми, облаканными небесами.

Лейтенант тоже понимал, что могильщикам еще, возможно, посчастливится прожить несколько дней. Но чувства зависти это у него не вызывало. Впрочем, чувства ненависти к ним тоже не было. Еще он обратил внимание, что пленных выгнали пока что только из одной машины. На другой брезент не был откинут. Неизвестность пугала скрытых за ним людей не меньше, чем бездна могильной ямы.

– Что там?! – панически кричали из-под брезента. – Где вы?! Вас расстреливают?!

– Прощайте, земляки! – решил ответить им кто-то из группы Беркута. – Здесь наша гибель! Рвите брезент! Бегите!

И люди пытались рвать его. Машина заходила ходуном. Рослый водитель бил в брезент стволом автомата, пытаясь таким образом укротить наиболее отчаянных.

Тем временем конвоиры штыками оттеснили обреченных к яме. Андрей оказался у самой ее бровки, между стариком и каким-то пленным в старой, почти истлевшей гимнастерке.

– Вы приговорены! – устало, с презрительной ленцой бросил немолодой уже обер-лейтенант, командовавший расстрелом. – Приговор вам известен! Формальности, связанные с зачитыванием его, думаю, лишние.

И опять он говорил все это по-немецки. А лейтенант Беркут, очевидно, был единственным человеком, понимавшим сказанное им. Но смысл улавливали все, кто стоял сейчас на краю своей жизни.

– Есть просьбы ко мне? – Эта фраза вырвалась у лейтенанта конечно же случайно. Так перед казнью спрашивали герои книг, которые офицеру удалось прочесть на досуге. Сейчас же она прозвучала настолько неуместно, что Беркут горько ухмыльнулся. Обер-лейтенант заметил это, задержал на нем взгляд и, прокашлявшись, отвернулся.

«Не из кадровых, – успел подумать Беркут, удивившись, что не потерял способности задумываться над такими вещами. – Не успел заматереть».

– Как будет угодно, – молвил тем временем обер-лейтенант, и приказал солдатам приготовиться.

Беркут упал в яму в ту минуту, когда услышал команду: «Огонь!» Потом он так и не смог определить: то ли сработал инстинкт самосохранения, то ли его толкнули стоявшие впереди него. А может, произошло и то и другое.

Падая, он больно ранил связанные сзади руки. Тот, кто летел вслед за ним, врезался ему в лицо макушкой головы, разбил губу, навалился всем телом, показавшимся лейтенанту непомерно тяжелым, воистину могильным.

А немцы уже выгоняли обреченных из другой машины. Беркут слышал, как кто-то истошно вопил: «Помилуйте! Я же не был партизаном! Господа немцы! Господин офицер! Это на меня полицай, гад!.. Я же ни в чем не виноват!»

И вновь камнепад тел, крики, брызги крови...

«О господи, когда ж это кончится?! Но яма довольно глубокая. Может, они сделают еще одну ходку? Хотя бы не вздумали засыпать сейчас! Конвоиры и пленные с лопатами отойдут в сторону. Перекурить... И тогда можно будет как-то выбраться отсюда».

Беркут уже понемногу начал выползать из-под мертвых и умирающих, привстав сначала на одно, потом на другое колено...

И вдруг: пистолетный выстрел. Крик. Стон. Еще выстрел. Предсмертное хрипение, конвульсии.

Третья пуля врезалась в человека, чье плечо лежало на его плече. Но тот был мертв. Офицер выстрелил просто так, на всякий случай. Или, может, промахнулся, целясь в него, Беркута?

– Засыпать! Работать, работать! – поторапливал обер-лейтенант.

На тела расстрелянных упали первые комья земли. Пленные из похоронной команды сгрудились на одной стороне и засыпали быстро, не бросая, а ссовывая целые горы земли.

«Значит – все! Но не живым же! – вдруг мелькнула мысль. – Только не живым! Не выбраться мне из-под груды тел и толщи земли! Задохнусь!..»

6

В 1945 г., здраво оценивая общую ситуацию и учитывая опасность, связанную с занимаемым им положением, он (Борман – Б.С.) предпринял решительную попытку перейти в восточный лагерь.

Шелленберг

«Капитал размещен надежно. Человек, знающий код, беспредельно предан Движению. В случае нежелательных военных осложнений вполне можете положиться на него. Банкир извещен. Магнус».

Борман отложил радиogramму и, откинув голову немного назад и в сторону, как он делал всегда, когда основательно задумывался, некоторое время сидел так, уставившись в высокий серый потолок.

Он никогда не перечитывал документ дважды. Удивительная цепкость памяти рейхслейтера давно слыла таким же феноменом рейхсканцелярии, как и его способность любой, самый сложный доклад фюреру сводить к нескольким совершенно ясным фразам, благодаря которым Гитлеру сразу же становился ясен не только смысл вопроса, но и ход рассуждений своего заместителя по делам партии, завуалированная подсказка решения и даже... их общая выгода.

– При приеме этой радиogramмы на радиостанции присутствовал еще кто-либо? – подался вперед Борман, и необъятная багровая шея его стала еще багровее. Ворот форменной коричневой рубашки, казалось, вот-вот не выдержит и взорвется, словно воздушный шар.

– Никак нет, господин рейхслейтер. Я проследил. Все как всегда. – Подполковник Регерс был таким же приземистым, как и сам Борман. Только плечи выглядели еще более сутулыми, голова казалась помельче, да и посажена была не на столь мощную шею. Тем не менее они удивительно напоминали друг друга. Настолько, что их можно было принять если не за братьев, то по крайней мере за дальних родственников.

– Сообщали ли вы кому-либо, что такая радиogramма получена?

– Нет, поскольку получил ваш приказ никому и ни при каких обстоятельствах... – Это уже третья радиogramма, которую Регерс вручает лично Борману, и в третий раз рейхслейтер задает одни и те же вопросы, кажущиеся уже ритуальными.

– Кто-нибудь из персонала радиостанции знал, что в это время ожидается сеанс связи с автоматическим радиопередатчиком?

– Никто, кроме капитана Вольфена.

– Опять Вольфен? Надеюсь, он не ведает того, о чем известно вам – что сообщение касается средств партии?

– С расшифровкой радиogramмы, господин рейхслейтер, знаком только я. Но можете считать, что я тоже не знаю ее смысла и никогда ничего не слышал о сообщениях, касающихся зарубежных счетов партии. – Регерс, как всегда, говорил сухо, бесстрастно. Слушая его, Борман не нуждался ни в каких дополнительных заверениях. Подполковник напоминал ему зомби, и если бы в одно прекрасное утро тот действительно предстал перед ним в беспамятстве зомби, это вполне устроило бы рейхслейтера. – Меня они попросту не интересуют. Я – солдат, и мне известно только то, что должно быть известно знающему свою службу солдату.

Коренастый и неповоротливый, Борман тяжело дошагал до стола и уже оттуда, запрокинув голову и склонив ее на правое плечо, взглянул на сникшего офицера. Его обрамленные коричневатыми мешками глаза могли показаться сонными и безразличными. Однако Регерс уже достаточно хорошо знал повадки начальника партийной канцелярии фюрера, чтобы не уловить, что за внешней благодушностью их диалога сокрыта некая связанная с только что полученной депешей тайна.

Например, ему ничего не стоило предположить, что речь в ней идет об одном из тех тайных зарубежных счетов, о которых не известно даже фюреру. Но в то же время он вполне понимал Бормана: надо же подумать и о себе. Конечно же, у рейхслейтера надежных каналов и такой агентуры, какими обладают Шелленберг, Кальтенбруннер, Скорцени, нет... Но ведь после окончания войны этим господам будет явно не до Бормана, которого они хоть сейчас готовы сдать англичанам. Просто так, за спасибо.

«Не оказаться бы и мне в числе нежелательных свидетелей», – с тревогой подумал подполковник, но, как истинный служака, вздрогнув, еще более верноподданнически подтянулся.

– Свободны, подполковник. – Было замечено Борманом его рвение. Однако стоило Регерсу взяться за ручку двери, как рейхслейтер остановил его.

– Кстати, не будет ничего страшного в том, что капитан Вольфен совершенно случайно узнает в разговоре за чашкой кофе, что в радиোগраммах, доступа к которым он не получает, речь идет о золотом запасе партии.

Регерс всю попытку не выдавать своего удивления, но ему это не удавалось.

– Сама по себе подобная информация все равно никому ничего не даст. Зато удовлетворит любопытство всех тех немногих, кто попытается войти через капитана в ваше, а значит, и мое доверие. Лучше уж совершенно правдивая информация, нежели гроздь подозрительных домыслов.

– Совершенно справедливо, господин рейхслейтер, – вежливо склонил голову подполковник. – Это куда лучше.

Оставшись в кабинете один, Борман уселся в кресло и только тогда не спеша перечитал радиограмму. Он знал то, о чем пока не догадывался Регерс: агент Магнус направлял ему послания, подлежащие двойной расшифровке. Те, для кого оказался бы доступным их шифр, сумели бы добраться лишь до текста, который лежал сейчас перед ним. А кому из высокопоставленных членов СС, СД и разведки неизвестно, что партайфюрер занимается размещением значительной части партийных средств в тех странах, где они могут быть сохранены до лучших времен? Точно так же, как известно, что все сведения об этих вкладах Борман обязан держать в строжайшей тайне.

Однако истинная суть радиосообщений, которые он получал, заключалась вовсе не в зарубежных счетах. Текст, составленный подполковником Регерсом в результате автоматической расшифровки на специальной приемной станции, имел совершенно иной смысл. Магнус сообщал, что канал связи с Москвой через чешского коммуниста, давнего агента НКВД, выступавшего под кличкой Шумава, налажен. И что на Шумаву вполне можно положиться. Но главное – то важное государственное лицо, на котором замкнулась цепь в Москве, гарантирует ему, Борману, что в случае поражения Германии он может рассчитывать если не на поддержку и политическое убежище, то по крайней мере на снисхождение.

Впрочем, вторичная, «глубинная», как называл ее рейхслейтер, расшифровка была сугубо смысловой, условной, а потому результаты ее могли истолковываться со множеством нюансов. Борману же хотелось определенности. «Той определенности, – молвил он себе, – которой вполне заслужил или по крайней мере способен заслужить».

Вот уже два года, как в Берлине нет человека, стоящего к фюреру ближе, чем он. Если в разведке русских сидят не законченные идиоты и знают истинное положение дел, то должны понимать и то, что влияние его, Бормана, на решения и мысли фюрера теперь почти безгранично. От Геринга уже давно на всю Европу пахнет не вовремя разложившимся политическим трупом. Гиммлер, правда, все еще пытается наступать на мозоли, однако удается ему это с огромным трудом. Уже хотя бы потому, что, вечно на что-то претендуя в рейхе, Гиммлер по существу уже давно ни на что конкретное не претендует. Кроме того, эсэсовское воинство его настолько замарало себя перед миром концлагерями и зверствами на фронтах, что ни один уважающий себя политик не подаст ему во время перемирия руки и не станет иметь с ним

дела. СС распустят и скорее всего объявят преступной организацией. Что же касается национал-социалистической рабочей партии Германии, то постепенно она избавится от крайне правых и возобновит дружеские отношения с рабоче-крестьянской партией большевиков, этими вечно стремящимися ко всемирной гегемонии интернационал-социалистами.

Борман открыл свой личный сейф, извлек папку с надписью «Магнус» и аккуратно вложил в нее донесение, присоединив его к двум предыдущим. Уничтожать их не было смысла. Шелленберг и Кальтенбруннер наверняка знали о содержащихся в них текстах. А сам Борман относился к ним с той бережливостью, с какой настроившийся на дезертирство солдат хранит сброшенную с вражеского самолета листовку-пропуск через передовые порядки противника.

Однако изменником Мартин себя не считал. Все, что он мог сделать для Третьего рейха, он уже сделал – для партии, фюрера, национал-социалистического движения. И не его вина, что столь почитаемые Гитлером Высшие Силы отвернулись от них, а скрип оккультного «шарнира времени» все больше напоминает скрип висельничной перекладки на осеннем ветру.

В отличие от многих других политиков и генералов из окружения фюрера Борман устремлял свои взоры на Восток, а не на Запад. У него были свои собственные взгляды на все то, что происходило сейчас на просторах России, и на ту идейную, духовную связь, которая, несмотря на всю жестокость нынешнего противостояния, все же роднила интернационал-социалистов России с национал-социалистами Германии. Ни в одной из западных стран, с их зажавшейся буржуазной демократией, идеи национал-социализма не могут быть восприняты с таким глубинным пониманием, как в многонациональном Советском Союзе, где почва для них давно взрыхлена и ждет мудрого сеятеля.

Ответ Магнусу, который рейхслейтер набросал, тоже был лаконичным и подлежал двойной дешифровке. «Напомните Банкиру, что успех дела партии зависит от вклада каждого из нас. Мы будем очень нужны друг другу. Капитал, как и идеи, не поддается плену».

«Сумеет ли Кровавый Коба понять меня? – с тревогой подумал Борман, вспомнив кодовое название операции по покушению на Сталина. Теперь, вдумавшись в сотворенный им самим текст, Борман воспринял его как вершину философской зауми. – Должен понять. У нас слишком мало времени, чтобы прицениваться друг к другу».

Борман был уверен, что, даже разгромив Германию, сталинский режим в России теперь уже долго не продержится. Слишком много у него врагов внутри страны. Слишком большие массы солдат побывают в Европе. Если уж он открыл ворота страны-концлагеря, вновь загнать в нее народ, подобно стаду баранов, будет трудно. Во всяком случае, без поддержки национал-социалистов Германии, Австрии, Италии, Франции.

«Кстати, чем там у них завершилась эта дурацкая операция?» – встревожился рейхслейтер. Кальтенбруннер и Скорцени, конечно, скрыли от него, что на Сталина готовится покушение. Зато фюрер не видел оснований для того, чтобы не поделиться с ним предчувствиями. Убийство Сталина оказалось бы для него как нельзя вовремя. Однако самого Бормана эта информация взволновала: не хватало еще, чтобы его тайные контакты были сведены на нет гибелью Главного.

«Разве что воспользоваться сведениями об акции против Сталина? – вдруг осенило рейхслейтера. – Сообщение о готовящемся покушении, поступившее от самого Бормана! Которое тотчас же подтвердится. Личные услуги такого порядка не забываются даже тиранами образца Кровавого Кобы. Тогда уж можно будет спокойно выходить на прямые переговоры. Пусть не со Сталиным, но хотя бы с его личным представителем. “Заговор двух генсеков” – так это будет именоваться затем историками», – вяло осклабился Борман. И, чуть запрокинув склоненную на плечо голову, выжидаяще уставился на портрет фюрера.

7

Беркут вновь осторожно приоткрыл глаза и увидел, что офицер стоит на краю ямы, прямо перед ним. Какое-то время обер-лейтенант всматривался в Андрея, пытаясь понять: жив этот расстрелянный или глаза его уже мертвы? Скорее всего – мертвы. Он даже наклонился, чтобы убедиться в этом.

– Жизнь – есть жестокое милосердие божье, господин обер-лейтенант, – яростно проговорил Беркут по-немецки и, резко пошевелив плечами, сначала освободил свою голову, а затем, поднатужившись, – то ли мертвые такие тяжелые, то ли сам он настолько ослаб? – с трудом поднялся на ноги. Теперь он стоял по грудь в безжизненных окровавленных телах и смотрел на онемевшего от удивления палача.

– Ты, кажется, что-то изрек, несчастный? – переспросил тот, обретя наконец дар речи. Больше всего офицера заинтриговало то обстоятельство, что чудом уцелевший заговорил по-немецки.

– Я сказал: «Жизнь – есть жестокое милосердие божье». Так было написано у подножия одного распятия. – Беркут проговорил это как-то слишком уж беззаботно, как человек, окончательно понявший, что спасения нет и терять ему больше нечего, но в то же время сумевший сохранить присутствие духа. – Именно это я и сказал вам, обер-лейтенант.

– Любопытное изречение. Древние умели ценить мудрость. Особенно, когда она исходит из могилы. Удивишь меня еще чем-то? – приподнял ствол пистолета.

– Смерть всегда лаконична. Поэтому пристрелите меня, окажите милость!

– Какая банальщина! – разочарованно ухмыльнулся обер-лейтенант и, заметив, что могильщики позамирали от удивления и стоят, ожидая конца их «загробного диалога», тут же гаркнул:

– Засыпать!

– Я обращаюсь к вам как офицер к офицеру. В вашем пистолете, думаю, найдется лишняя пуля. В конце концов вы получили приказ расстрелять меня, а не похоронить живьем.

– Ты кто, немец? – дуло пистолета отплясывало в руке обер-лейтенанта какой-то бешеный фокстрот, словно он ловил на мушку ускользящую от него мишень, но никак не мог поймать.

– Нет, русский. Офицер, – быстро проговорил Беркут, выплюнув изо рта большой сгусток крови.

– Разведчик, значит? Как же тебя здесь прозевали? Обычно таких в наш лагерь не посылают.

– Я всего лишь фронтовой офицер. Обычный окопник. – Беркут вдруг осознал, что обер-лейтенант проявил к нему интерес, который уже выходит за пределы интереса палача к своей ожившей жертве. И понял, что от этого разговора может зависеть сейчас его судьба.

«А вдруг!» – озарило его сознание. И ничего больше не успел подумать, только это обреченное: «А вдруг!»

– Просто в детстве увлекался немецким.

– Но ты хорошо говоришь. Слишком хорошо, – с явной подозрительностью в тоне добавил обер-лейтенант.

– Потому что воспитывался у немцев, когда-то давно поселившихся в России. Затем учился в институте. Готовился стать учителем немецкого.

– И все же... – заколебался офицер. – Ты свободно говоришь по-немецки. Почти без акцента.

– Я уже все объяснил, господин обер-лейтенант, – сдержанно напомнил ему Беркут. Он ведь выпрашивал у этого палача не жизнь, а пулю. Всего лишь пулю, полузасыпанным стоя посреди могилы, на груде тел своих собратьев.

Тем временем другие собраты, которым выпало быть могильщиками, трудились вовсю. В своем старании они не щадили даже его: глина сыпалась на голову, на грудь и спину.

«Куда они так торопятся? – резко оглянулся на них Беркут. – Боятся? Считают: чем скорее засыпят могилу, тем скорее похоронят меня, пусть даже живьем... тем больше шансов вернуться в лагерь? Логика могильщиков!»

– Было бы куда лучше, если бы вы признались, что являетесь разведчиком, – как бы про себя размышляя вслух, молвил обер-лейтенант.

«Ему нужен повод, – уловил его мысль Беркут. – Хоть какой-то повод для того, чтобы вытащить меня отсюда».

– Ну так не поверьте мне. Предположите, что перед вами скрывавшийся в лагере разведчик.

8

Гольвег исчез за дверью, а два диверсанта продолжали стоять, опершись руками о стол, и молча смотреть друг на друга: один решительно и воинственно, другой – заискивающе виновато. Кондаков словно хотел разжалобить Скорцени. Словно извинялся, что не способен вознестись до уровня «СС-командос», к которому стремился поднять своих фриденбургских курсантов первый диверсант рейха.

– Курс вашей общей подготовки завершен, лейтенант. Оставшиеся десять дней мы будем готовить вас отдельно. По специальной программе, рассчитанной исключительно на выполнение операции «Кровавый Коба». Я не понял: вам что, не нравится название операции?

– Почему же... «Кровавый Коба». Это каждому понятно.

– Вот именно: каждому, – решительно подтвердил Скорцени. Не будь этот лейтенант знакомцем механика Сталина, Скорцени тотчас же изменил бы свой выбор. Лагерник – он и есть лагерник. – Ваша задача – совершить возмездие. Потом, в течение двух недель, Москва и ее окрестности, вся Россия будет отдана вам на откуп. Живите, наслаждайтесь, предавайте суду – и сами же исполняйте приговор...

– Нас отправится двое? – Как Скорцени и предполагал, на «двухнедельные московские радости» у Кондакова фантазии уже не хватило.

– Кажется, вы ничего не имеете против Меринова? Вы сработались с ним, мы это заметили.

– Нетруслив. Уголовником стал уже в сибирской ссылке...

– Зато нож и фомку пускает в ход, не задумываясь. В этом, согласитесь, есть свои преимущества. К тому же воровская жизнь приучила его скрываться, добывать харч, словом, выживать в любых условиях. Но... вы слышите меня, лейтенант Кондаков, если почувствуете, что бывший уголовник начинает колебаться, если у вас появится хоть малейшее подозрение... Немедленно убирайте его. Немедленно! Этот грех я возьму на свою душу.

– На моей тоже будет всего лишь грехом больше, – может быть, впервые за время их встреч проснулось самолюбие Кондакова.

Однако «греховный» спор их был самым банальным образом прерван появлением Гольвега.

– Вот она... – положил на стол нечто подобное засохшему комку грязи, величиной не более кулака.

– Вы уверены, что это именно она? – уточнил Скорцени, двумя пальцами потрогав то, что и в самом деле представляло собой комок рыжевато-черной грязи, только слепленной специальной клейкой массой.

– Не хотелось бы, чтобы инженер, который дал мне эту штуковину, продемонстрировал ее действие в нашем присутствии. Говорят, у этой мины фантастическая сила взрыва.

– Вы слышали, Кондаков? – обратился Скорцени к лейтенанту. – На вас почти месяц работал целый военный институт. Именно для вас создано это чудо пиротехники, аналогов которому пока что нет ни в России, ни в Англии.

Вместо того чтобы возгордиться и восхититься, Кондаков промычал нечто нечленораздельное, уже в который раз сбивая Скорцени с волны вдохновения.

– Вы отправитесь в Москву, имея в рюкзаках четыре таких мины. В случае опасности можете незаметно положить этот комок у своих ног, и все НКВД двадцать раз споткнется о него, но так и не догадается, что это мина, взрыватель которой действует от миниатюрного коротковолнового передатчика, размером с сигаретную пачку. Впрочем, все это слова. Что там у нас на лесном полигоне, Гольвег?

– Все готово.

Через несколько минут диверсанты уже сидели в машине, увозящей их на спецполигон, на территории которого проходили «взрывную» практику курсанты Фриденшталя. Инструктор, ожидавший их там, показал Кондакову, как пользоваться маленьким тубиком, содержащим какое-то клейкое вещество, благодаря которому мину можно было легко прикрепить к стальному днищу старого, обреченного на гибель «опеля».

Кондаков сделал это лично и сам же, вернувшись в бункер, послал радиосигнал передатчика. Взрыв был таким, что машину разнесло вдребезги, но не на земле, а где-то в поднебесье. И стальные обломки ее опали в виде осколочного града.

– Ну вот, а вы, Гольвег, сомневались, – первым нарушил молчание Отто Скорцени, когда осколки достигли земли, а султан песка и пыли осел на обломках ближайших сосен. – Вас, Гольвег, всегда трудно в чем-либо убедить, пока не увидите собственными глазами.

– Но ведь такое приятно увидеть, – невозмутимо ответил Гольвег, краем глаза следя за удивленно поглядывавшим то на него, то на Скорцени лейтенантом Кондаковым. Диверсант еще не понимал, что становится свидетелем обычного для Скорцени «психического спектакля» – как называли эти импровизации «первого диверсанта рейха» его подчиненные.

– Что скажете, лейтенант Кондаков? – мгновенно забыл о существовании гауптштурмфюрера Скорцени.

– Страшная сила.

– Операция «Кровавый Коба»!.. Старались. Диверсия века. Кто осуществил? Старший лейтенант Кондаков. Не оговорился, на задание вы отправитесь старшим лейтенантом, в рейх вернетесь капитаном. О награждении вас Рыцарским крестом позабочусь лично. Но это к слову. Вы видели, что минуту назад произошло с машиной? Конечно, у Сталина машина бронированная. Но мины будут потяжелее.

– Такая разнесет! – оживился Кондаков.

– Не думайте, что все две недели, которые остались до высадки в России, вас будут развлекать такими зрелищами. Эта «Коба-мина» слишком дороговата, чтобы доставлять вам подобное удовольствие. Но закреплять ее и посылать радиосигнал вам придется раз сто. Чтобы до автоматизма. Взрыв на машине Сталина вам тоже не обязательно лицезреть. Радиокоманду вы сможете подать, находясь в одиннадцати километрах от места взрыва.

– Ну?! – недоверчиво взглянул на штурмбаннфюрера Кондаков.

– Как видите, мы вовсе не собираемся превращать вас в смертника. В отличие от Сталина нас приучили ценить те самые кадры, которые «решают все».

– Понимаю, – вновь перевел Кондаков взгляд туда, где вместо машины осталась обремененная обломками воронка.

– А теперь я хочу услышать ваше твердое «да», лейтенант. Если вы считаете, что не в состоянии справиться с этим заданием, говорите прямо. Мы подберем другого руководителя группы, вы же останетесь исполнителем обычной «грязной» диверсанта работы. Но уже в других операциях. При этом вас никто не упрекнет ни в трусости, ни в отказе осуществить акцию «Кровавый Коба».

– Я говорю: «да», господин штурмбаннфюрер, – с некоторым раздражением подтвердил лейтенант.

– Что ж, в таком случае идите и готовьтесь к выполнению задания. Вам покажут несколько фильмов о Москве и Подмосковье. Экипируют. Отлично вооружат. Дадут надежные явки в окрестностях русской столицы. И поймите: теперь вы – «второй диверсант рейха». Увы, пока что второй, – улыбнулся Скорцени одной из тех своих, почти ласковых, улыбок, при виде которых даже давно близкие к нему люди содрогались. – Титул «первого» временно сохранится за мной. Вас это удручает?

– Нет.

– А жаль, – резко отреагировал Скорцени. – Должно удручать! Отправляясь на задание, вы должны бредить ореолом «первого диверсанта рейха». И титулом «лучшего диверсанта за всю историю России», на который вы попросту обречены. А пока что... Но ведь, согласитесь, не вы же похищали Муссолини с вершины Аbruццо.

«Правда, я и сам уже не уверен, что это похищение дуче из “Кампо Императоре” совершил я», – мысленно проговорил Скорцени уже самому себе, садясь рядом с водителем в машину, которая должна была доставить его в Берлин. Он и так потратил на этого лагерника слишком много времени. Непозволительно много.

– Я понимаю, Гольвег, что вас удивляет, почему я столь упорно вожусь с этим русским.

– Ему трудно найти замену. По-моему, Кондаков понял это.

– Дело не в замене. В конце концов мы могли бы послать другого диверсанта. И помогли бы ему найти подходы к гаражу Сталина. Но для меня сейчас не так важно: подорвем мы Кобу или же он и дальше будет истреблять свой советский народ.

– Сталин истребил столько своего собственного народа, что мы его должны не казнить, а награждать. Высшими орденами рейха. Недооцениваем заслуг, штурмбаннфюрер.

– Если ваши слова, Гольвег, дойдут до Гимmlера, он вынужден будет наградить вас за гениальную мысль, признав которую, вся служба безопасности рейха должна будет признать себя идиотами, зря поедающими хлеб. Ведь Сталин действительно истребил больше русских, чем весь вермахт с дивизиями СС и комендатурами гестапо, вместе взятые. Не покушаться, а охранять мы его должны...

– А почему бы рейхсфюреру и не призадуматься над этим? – храбро завершил его рассуждения гауптштурмфюрер.

Скорцени промолчал, однако Гольвег почувствовал, что молчит он совершенно по иному поводу.

– ...Для меня важно убедиться, – неожиданно продолжил прерванную мысль Скорцени, – удастся ли нам в конце концов сотворить из этого лагерника, человека, совершенно лишённого какой-либо «диверсионной» фантазии, настоящего «СС-командос». Диверсанта-профессионала.

– Пристрелите меня за лесть, Скорцени, но вы единственный в этой стране, которому это действительно может удалиться.

9

Все вокруг уже было покрыто глиной. Над этим могильным слоем земли возвышалась только его голова и плечи.

– Что, струсил? – незло, почти добродушно спросил обер-лейтенант. Он все еще колебался. И трудно было понять, чем обернется для него, Беркута, это милосердное колебание: то ли выстрелом, то ли погребением живьем, то ли...

– Это в самом деле очень страшно, обер-лейтенант. Вам лучше поверить мне на слово. Да остановите вы этих гробокопателей! Куда они торопятся?

– Стоять! – прокричал немец то единственное русское слово, которое знал и которое, по его мнению, пришлось очень кстати.

Могильщики слышали и слова Беркута, поэтому сразу же прекратили работу.

– Захотелось пожить? Даже в могиле? Еще бы, понимаю... – вернулся к их диалогу обер-лейтенант. Он говорил без презрения, без ненависти. Но и без сочувствия. Сейчас им руководило только обычное любопытство. Беркут сразу уловил это.

– Я ведь не вымаливаю у вас помилования, обер-лейтенант, – снова рискнул Беркут. – Я боролся, сколько мог. А теперь... теперь прошу пули. Выстрела милосердия – так это называлось во всех армиях мира.

– «Выстрел милосердия»? Неужели существовал такой термин? Признаться, не слышал.

– Существовал.

– И все же... Вас, – перешел он на «вы», что уже было хорошим предзнаменованием, – загнали в лагерь как опасного преступника? Вы проходили по гестапо? – наклонился обер-лейтенант к Беркуту.

– Нет, – покачал тот головой, стараясь глядеть немцу прямо в глаза. – Обычный пленный, гестапо обо мне ничего неизвестно.

– Значит, я должен предположить, что неизвестно... – задумчиво повторил обер-лейтенант.

И Беркут вновь почувствовал, что офицер может помиловать его. Он даже склонен к этому. Но для окончательного решения не хватает какого-то психологического толчка, какого-то эмоционального импульса, проблеска человечности. Но кто подскажет, как возродить этот проблеск? Спасись! Еще хотя бы на день отсрочить смерть. А ночью... ночью он обязательно попытается бежать. Главное, выйти из этой могилы.

«Выйти из могилы!..» Был ли еще в мире человек, мечтавший об этом, находясь в могильной яме?!»

– А ведь я тоже собирался стать учителем, – вдруг произнес обер-лейтенант, резким жестом остановив могильщиков. Ему показалось, что кто-то из них снова вознамерился швырять лопатой землю. – Только не филологии, а математики. Окончил университет. Так что мы почти коллеги.

– К сожалению, окончить свой институт я не успел. – Андрей решил быть искренним со своим палачом. – Война помешала.

– Да, война... Но все равно... Ведь если бы не она, вы бы учительствовали, не так ли? И затеяли ее не мы, педагоги. Военными нас сделали против нашей воли, – отрешенно проговорил офицер.

И Беркут с новой силой почувствовал: обер-лейтенант ищет оправдания своему благородству. Он уже принял решение и теперь пытается как-то освятить его. Прежде всего – в собственных глазах.

– По-моему, им так и не удалось сделать нас военными. Во всяком случае, не всех. Только они еще не поняли этого.

– Вот именно. Война – их ремесло, военных. Мы же... Впрочем, какая разница: одним расстрелянным больше, одним меньше? В конце концов расстреляют в другой раз, – вслух размышлял обер-лейтенант и только теперь спрятал пистолет в кобуру. – Выбирайтесь оттуда, коллега. Не могу я расстреливать учителя. Тем более, что у меня нет приказа расстрелять именно вас. И приговора тоже нет. Вы ведь не приговорены, я прав?

– Абсолютно, обер-лейтенант. Никакого приговора. Я оказался здесь случайно, – как можно поспешнее заверил его Беркут. – По воле рока.

– Мне было названо лишь количество заключенных, подлежащих... – слово «расстрелу» или «казни» вымолвить он уже не отважился. Что-то остановило его. – Ну выбирайтесь же оттуда, выбирайтесь! Время не ждет.

– Мне трудно сделать это.

– Давайте руку. Эй, унтер, ты длиннее всех. Поддай ему руку.

– Они у меня связаны, – объяснил Беркут, – за спиной. Их забыли развязать.

– Тогда вы, кто-нибудь! – крикнул он пленным из похоронной команды. – Помогите ему!

– Офицер приказывает вытащить меня отсюда! – перевел Беркут могильщикам. – Да пошевеливайтесь, пошевеливайтесь!

Обер-лейтенант и почти двухметрового роста унтер, не очень спешивший с услугой, отступили в сторону. Трое пленных подошли к тому месту, где они только что стояли. Однако никто не знал, каким образом поступить. Они топтались у кромки, ругались и что-то бормотали, но прыгнуть в яму, на кучи мертвых тел, пока никто не решался.

Их нерасторопность и злила, и пугала Беркута. Он понимал, что сейчас все решают мгновения. Обер-лейтенанту может надоесть их возня. Куда проще пристрелить русского – и дело с концом. Но «выстрела милосердия» Беркуту уже не хотелось. Он поверил в спасение. Он снова цеплялся за надежду остаться жить.

Пошатываясь, лейтенант пытался освободить свои ноги. Одной он уже наступил на чье-то плечи или, может быть, на грудь и теперь изо всех сил старался вытащить вторую.

– Опустите мне лопату! Я повернусь и ухвачусь за нее! – крикнул он могильщикам, с большим усилием поворачиваясь к ним вполоборота.

– Ни черта не выйдет, – проговорил кряжистый рыжеволосый заключенный.

– Выйдет! Я – лейтенант! – прибежал он к последнему аргументу, который у него имелся и который там, в лагере, еще иногда срабатывал. Некоторые из пленных красноармейцев даже в лагерных условиях старались относиться к офицерам с надлежащим почтением. – Выполняйте то, что вам приказывают.

Может, его звание действительно подействовало, может, просто в голове огненно-рыжего неожиданно просветлело, но все же могильщик этот сумел дотянуться до лейтенанта концом черенка. Беркут ухватился за него связанными руками, однако черенок выскользнул.

– Ишь, как не отпускает тебя могила, – натужно прокряхтел рыжий, и лицо его странно побагровело. – Будто втягивает в себя, будто втягивает.

– Не причитать, не причитать! Поверни железкой ко мне, ну, – продолжал подсказывать Беркут.

– Штык, – потребовал немецкий офицер у одного из солдат, тоже сгрудившихся вокруг могилы. А когда солдат снял штык с ремня, взглядом показал: передай пленному.

Тот, кто подавал Беркуту лопату, тоже понял обер-лейтенанта: взял штык, зачем-то поплевал на него и, перекрестившись, прыгнул в яму.

– Господи, это ж считай, что оба мы уже на том свете, – бормотал он, топчась по телам расстрелянных и неумело перерезая веревку. – Повезло тебе, командир...

– Давай, давай, не тяни, – вполголоса поторапливал Беркут. – Помоги выбраться, пока фриц не передумал.

– С возвращением в этот мир, – мрачно приветствовал его «коллега», когда операция по вытягиванию из могилы наконец была завершена. – Я уже полтора года на фронте. Но расстреливать пришлось впервые.

– Слава богу. Не успели зачерстветь. С чего это нас? Вдруг?

– Вместо заложников. Хватали кого попало. Возглавить ликвидационную команду лагеря почему-то приказали именно мне. Странно: чтобы из могилы... оказался не расстрелянным... И даже не раненым. Такое вижу впервые.

– Спасибо за воскрешение, коллега. Война действительно начата не нами. И то единственно доброе, что мы можем сделать, участвуя в ней, – это спасти всех, кого еще возможно, кого в состоянии спасти.

– Это считается трусостью или предательством.

– Зато после войны, особенно на смертном одре, все остальные будут считать убитых ими, а мы – спасенных.

– Оставьте свои проповеди... – презрительно обронил обер-лейтенант. – В машину.

10

– Господин штурмбаннфюрер, осмелюсь напомнить, что сегодня у нас торжественные проводы.

Прежде чем хоть как-то отреагировать на напоминание адъютанта, Скорцени отбил еще два нападения своего вооруженного кинжалом спарринг-партнера, роль которого выполнял инструктор рукопашного боя фриденальских курсов особого назначения, и лишь тогда, вытирая полотенцем пот с лица и груди, поинтересовался:

– Кого и куда мы провожаем с вами, Родль? – Не так уж часто удавалось Скорцени позаниматься часок-другой в спортивном зале Фриденталя, где курсантов обучали защите от всех видов холодного оружия и где кожаные физиономии подвешенных между полом и потолком манекенов навевали грустные мысли о том, как слишком мало он уделяет внимания своей физической подготовке.

– Известно кого – наших русских компаньонов.

– Точнее, – потребовал штурмбаннфюрер, сбрасывая с себя тренировочную куртку и слизывая с губ едкий соленый пот.

– Операция «Кровавый Коба», – вполголоса произнес Родль, мельком взглянув на отошедшего к окну инструктора и приблизившись к шефу.

– Черт возьми, что же вы раньше?! Когда вылет?

– Через четыре часа.

– Через два с половиной мы должны быть на аэродроме, Родль!

– Машина уже готова. Водитель за рулем. У вас еще останется несколько минут, чтобы произнести напутственное слово.

– Не превращайте меня в партийного функционера, Родль, – проворчал Скорцени, с сожалением осматривая зал. Ему не хотелось уходить отсюда. Иногда его посещала совершенно бредовая идея: отрешиться от всего брэнного мира и, подобно монаху Шаолиньского монастыря, полностью посвятить остаток дней собственному совершенствованию в стенах замка Фриденаль.

– Как вы думаете, Родль, высшее руководство рейха придет в восторг, узнав, что мы с вами пытаемся превратить Фриденаль в монастырь для отставных «СС-командос»?

Родль ошарашенно уставился на Скорцени. В общем-то он привык к сумасбродным идеям «первого диверсанта рейха», тем не менее иногда ему все же приходилось на несколько секунд застыть с открытым ртом в попытке как-то понять, сосредоточиться и отреагировать так, чтобы не выглядеть недоумком.

– Оно будет счастливо. Особенно когда до ставки фюрера долетит весть, что первыми постриглись в монахи штурмбаннфюрер Скорцени и его беспутный адъютант.

– Адъютант беспутного «первого диверсанта рейха» – это вы хотите сказать? – добродушно пожурил его Скорцени, решительным шагом направляясь к душевой. – В следующий раз одним из манекенов этого зала станете вы, Родль. Я не допущу, чтобы, откровенно волнуясь, вы еще и ухитрились срывать тренировки своему шефу. Это непорядочно.

В кабинет, который администрация аэродрома выделила Скорцени для встречи с десанниками, Кондаков и Меринов вошли вместе. Сбросив маскировочные плащи, которые они надели, чтобы не мозолить глаза своими советскими мундирами, агенты предстали перед штурмбаннфюрером в погонах майора и капитана Красной армии.

– Как видите, на звания мы не скупимся, – холодно прощупал их обоих взглядом Скорцени. – На деньги, кажется, тоже, – вопросительно взглянул на Кондакова.

– Так точно. Там у них, правда, продовольственные карточки... Но черный рынок тоже работает.

– Выпускник такой элитной диверсионной школы должен уметь сам добывать себе на пропитание. Когда заходит речь о деньгах для агента, работающего и стране противника, мне становится стыдно. Есть еще какие-то просьбы? Пожелания?

Диверсанты переглянулись и как-то неуверенно пожали плечами.

– На той, первой явке, на которой будете приходить в себя после десантирования, вы найдете еще довольно значительный запас патронов, сухих пайков и денег. Если же у вас возникнут какие-то проблемы здесь, то – Скорцени взглянул на часы – до вашего отлета остается почти полтора часа. Гауптштурмфюрер, возглавляющий подготовку к операции, постарается решить их очень оперативно. Я же хочу выступить в роли пастора, – ангельски ухмыльнулся Скорцени. – Или попа – так, кажется, по-русски?

– Мы неверующие, – предупредил Кондаков.

– Именно поэтому. Послушайте меня, парни, – голос «первого диверсанта империи» стал жестким и металлически твердым. – Помните, что результатов вашей операции буду ждать не только я. Не только командование вермахта. Его будет ждать прежде всего сама Россия. Порабощенные большевиками народы Советского Союза. На ваше мужество рассчитывает вся Европа. Весь мир с надеждой будет ждать известия о том, что возмездие наконец свершилось. Взрыв, ради которого вы рискуете жизнями, в тот же день отзовется взрывом ликования в сотнях сталинских концлагерей. Он станет первым глотком свободы, которым Россия насладится еще до того, как добьется демократического возрождения.

Скорцени умолк, давая возможность переводчику дословно перевести все сказанное им. При этом он всматривался в лица диверсантов. Они по-прежнему оставались угрюмо-сосредоточенными. И никакой печати рыцарского мужества на них, никакого полета диверсионной фантазии!

– Но мы не политики, – Скорцени вдруг почувствовал, как, глядя на лица этих безнадежных «лагерников», он и сам потерял всякое воодушевление. – «Ты становишься жалкой тенью Геббельса, – почти с отвращением сказал он себе. – Самой жалкой из всех его теней». – Мы – солдаты. Поэтому я уверен, что вы выполните свой солдатский долг перед человечеством. Следующая наша встреча, уже после вашего возвращения в пределы рейха, состоится в лучшем ресторане Берлина.

– Вот это по-нашенски, – только теперь вымучил нечто похожее на кислую улыбку лейтенант Кондаков.

– А вы, агент Аттила, считали, что успех такой операции мы не отметим? Но о меню и выпивке – потом. Пока что – дай бог свидеться.

– До встречи, господин штурмбаннфюрер.

– Будет ли она? – мрачно проворчал по-русски Меринов.

Скорцени не понял его слов, но очень точно уловил дух сказанного.

«Лагерники – они и на том свете лагерники, – молвил он про себя, глядя вслед агентам. – В этом весь ужас твоей работы с русскими».

11

Беркут незаметно осмотрелся. Вокруг немцы. Правда, бдительность несколько притуплена, но сколько стволов!.. Нет, сейчас побег невозможен. Не сейчас. Ну что ж...

Он забрался в кузов. Один из автоматчиков сразу же закрыл борт и остался охранять пленного.

Андрей вдруг почувствовал, что совершенно обессилел. Подполз к кабинке и затих, свернувшись калачиком... Жив. Он все еще жив! Какое счастье! А ведь уже мог бы лежать где-то там, под слоем глины и тел. В могиле. «Господи, неужели в этом спасении твой знак?»

Три казни. Три! Две, как оказалось, ложные. Обычная подлая имитация. Третья – настоящая.

«Не слишком ли много для одного? Ведь я всего лишь обычный смертный. Ты забыл, Господи, что я всего лишь обычный смертный».

– Нельзя так истязать человека, – уже вслух пробормотал он. – Не по-людски это. Неужели мне когда-нибудь удастся вырваться из устроенного немцами ада?! Если удастся – забьюсь в какой-нибудь сарай, нору, пещеру, лесную сторожку – и полгода, нет, год проживу отшельником!

«Нервы, – попытался Беркут взять себя в руки. – Нервы!»

Резко прозвучал пистолетный выстрел, но Беркута он не встревожил.

«О, если только удастся вырваться из лагеря, из плена! Эти гады за все мне заплатят, – вдруг сразу забыл он свои мечты об отшельничестве. – За все! Этого я им не прощу».

– Засыпáть. Быстро-быстро! – донеслось от рва. Но это уже из какого-то иного мира, не имеющего к нему, лейтенанту Громову по кличке Беркут, абсолютно никакого отношения.

Снова открылся задний борт. Взобрался в кузов и уселись на полу уставшие могильщики. Тяжелое дыхание, отрывки матерных фраз, надрывный кашель, который там, у ямы, как и в лагере во время проверок и осмотров, пленные конечно же стараются сдерживать. Любая болезнь или просто ослабленность – уже основание для того, чтобы попасть под «санитарную чистку».

«А вот тебе бояться теперь нечего, – мрачно пошутил сам над собой Беркут. – Можешь убедить себя, что тебя уже нет. Ты уже “там”! Чего может бояться мертвый? Еще одной смерти? “Расстреляв” тебя, они подарили тебе бессмертие! – А чуть переждав невероятную тряску, пока машина выезжала на шоссе, попробовал продолжить эту мысль: – Весь вопрос в том, как им распорядиться, этим страшным бессмертием».

– Что ты там бормочешь, загробник?

«Разве я заговорил вслух? – усомнился Беркут. – Не может быть».

– Да молится он. Теперь ему только и осталось, что молиться.

– Не молюсь я, – не удержался лейтенант. – Распеваю загробные песни. Я уже мертвый, неужели непонятно?

– Ты-то еще не мертвый, а вот тот... – скорбно проворчал могильщик, сидевший с ним плечо в плечо.

– Всю оставшуюся жизнь проживу, осознавая, что я давным-давно похоронен, – не придал значения его словам Беркут. – Способен ли мертвец цепляться за жизнь? Дрожать?

– Ты что, парень, свихнулся? – сочувственно поинтересовался тот, первый могильщик, который и начал разговор.

– Мертвец не способен свихнуться. Просто я уже расстрелян. Постой, это, кажется, ты вытаскивал меня из могилы?

– Не я, – резко отрубил могильщик.

– Век тебя не забуду, – не расслышал его возражения Беркут. – Если бы не ты...

– Можешь помнить, да только я не тот. Не тот, доходит до тебя?!

– Кто же из вас «тот»? Отозвался бы уж.

– Да он точно чокнулся, – вмешался кто-то из молчавших до сих пор похоронщиков.

– И все же пусть знает. Эй, ты! Того, кто спасал тебя, здесь уже нет. Расстрелян он.

– Как «расстрелян»?

– Обыкновенно. Из пистолета, в затылок. Вместо тебя.

– Нет, я серьезно спрашиваю...

– Что ты здесь дурочку валяешь?! – вдруг взорвался кто-то, сидящий у заднего борта. – Будто не видел, что твой обер пристрелил его?! Вежливо поблагодарив при этом за находчивость! И даже потом не добил. Так, в судорогах, мы его и присыпали! Вместо тебя! Для счету.

– Но... как же так? – растерянно пробормотал Беркут.

– А вот так! Нужно было расстрелять двадцать четыре человека – он и расстрелял. Было шестеро могильщиков?! Шестеро и вернулось! Ты – за шестого. И сережки в соломе. Немецкая аккуратность.

– Выходит, что тот выстрел?.. Я ведь действительно ничего не видел... Но, мужики, я даже не мог предположить...

– Да ты тут ни при чем, – вступился за Беркута могильщик, который спрашивал о молитве. Каждый вымаливает себе жизнь как может. Только смотри, как бы за это спасение они тебя не заставили платить.

– И все-таки лежать там должен был он. А не Борисов! – снова взвился тот, у заднего борта. – Я тоже чуть было не прыгнул к нему! Веревки, видишь ли, развязывать! Фашист, видно, так и прикинул: кто поможет, тот и вытянет свой смертный жребий. Вот мы и тянули. Достался Борисову, святая его душа. Ну, ему достался, что тут скажешь? А мог бы кому-то из нас. И сережки в соломе.

– Бежать нужно, служивые, – вмешался кто-то третий. – Иначе они всех нас... Думаешь, им есть резон оставлять в живых могильную бригаду? Для фрицев, если так, по закону, мы – первые и самые лютые свидетели их сатанинства.

– Не пужайся, со свидетелями у них строго, – «успокоили» его. – Лишних не оставят.

Весь оставшийся путь до лагеря Беркут тихо, беззвучно проплакал. Впервые за всю войну. Это был плач-молитва, плач-прощение, выпрашиваемое у того, кто погиб вместо него, заняв его место в общей могиле; плач-исповедь перед теми, кто сидел сейчас рядом и кто окажется рядом с ним, живым, через час, через сутки, год... А еще это был плач ненависти. Так плачет человек, понявший, что жесточайшая месть, которую он вынашивает в своей груди, – не потребность жестокой натуры, а крайняя мера той безысходности, в которую загнали его суровые обстоятельства, загнала судьба, сама жизнь.

«Он прав, этот могильщик, каждый выбирает свой жребий. Жестокий жребий жизни, смерти, войны. Жребий войны...»

12

С Кальтенбруннером они встретились в небольшом ресторанчике неподалеку от Главного управления имперской безопасности, который был известен в офицерских кругах как «ресторан СС». Обергруппенфюрер задумчиво сидел за кружкой черного густого пива и думал о чем-то немислимо далеком от службы и войны.

– Вы, Скорцени? Давно жду. Ни одного завсегдатая. Дожились! За кружкой пива поплатиться некому.

Штурмбаннфюрер заказал запеченное в крови мясо, называвшееся здесь «антрекотом по-австрийски», и кружку такого же пива, какое медленно допивал его шеф.

– Отправили этих своих «энкаведистов»? – спросил Кальтенбруннер, потягивая горьковатое пиво с таким мрачным отвращением, словно смаковал собственноручно нацеженную в кружку отраву. Он пребывал в той высшей стадии апатии, когда в нем неожиданно прорезался столь мрачный, как его настроение, юмор.

– С божьим напутствием.

– Считаете, что эти ублюдки способны выполнить наше задание?

– Нет.

– Что «нет»? – застыл с кружкой в руке Кальтенбруннер.

– Не способны.

Обергруппенфюрер и сам был уверен, что не способны, однако безапелляционное утверждение Скорцени, курировавшего подготовку операции «Кровавый Коба», буквально потрясло его. Если только Кальтенбруннера вообще, способно было что-либо потрясать.

Почти с минуту он молчал, задумчиво глядя куда-то в сторону двери, словно ожидал, что там вот-вот появится кто-то третий, способный внести в их разговор если не ясность, то по меньшей мере трезвость.

– Тогда как вас понимать? Вы что, действительно уверены, что эти двое?..

– Дьявол меня расстреляй. Я был бы рад, если бы оказалось, что ошибся. Но ждать, в общем-то, недолго.

– Тогда кого мы готовили, Скорцени? Кого, если оказывается, что уже в день отлета вы абсолютно уверены в полном провале операции?!

Скорцени взглянул на часы. Самолет должен был подняться в воздух пять минут назад, а поэтому все их разговоры и предположения не имели никакого смысла. Изменить что-либо уже все равно нельзя было. Разве что потребовать вернуть самолет, чтобы предстать перед всем СД и абвером в роли посмешища.

– Тем не менее агенты взлетели. И операция «Кровавый Коба» началась.

Кальтенбруннер отрешенно покачал головой, словно упорно пытался отрицать правдивость этого сообщения.

– Но почему, штурмбаннфюрер? Ведь, насколько я знаю, люди эти вряд ли решатся пойти с повинной. Одно то, что они дали согласие на убийство вождя... В то же время у Кондакова есть подступы к человеку, близкому к Сталину.

– К его машине, – меланхолично уточнил «первый диверсант рейха», сосредоточенно принимаясь за еду.

– Что еще более важно. Следовательно, есть шанс на успех. Так какова логика? Объявляйте, объявляйте ваш приговор. Вы теперь имеете право на него как никто другой.

Скорцени кратко изложил все, что способен был изложить, что стало плодом его аналитических размышлений и наблюдений за агентами Аттилой и Меченым.

– Я тоже очень сомневаюсь в способностях группы Аттилы выполнить это задание, но вы меня совершенно не убедили, Скорцени.

– Иногда самым убедительным аргументом становится отсутствие каких-либо аргументов. Особенно это просматривается в тех случаях, когда срабатывают психология и интуиция, дьявол меня расстреляй.

– Хорошо, мы узнаем, что диверсионная группа провалилась, погибла, сдалась... Что дальше? Будем готовить следующую? Только на этот раз попытаемся найти среди лагерниц из России бывшую любовницу Сталина? Нет, подругу его жены? Предлагайте, Скорцени, предлагайте. Может быть, вы сами тряхнете стариной и отправитесь в Москву?

– Вы знаете мой ответ: «Если понадобится...» Девиз Генриха Саксонского: «Приказ должен быть выполнен» – я воспринимаю как заклинание.

– «Приказ должен быть выполнен. Он должен быть выполнен любой ценой». Гиммлеру это очень понравилось бы. Это по его части. Тем более что Генрих Саксонский – его любимец. Однако вернемся к пеплу все еще живых. В Москву вас, надеюсь, не направят. Вы уже шли на нее, будучи офицером дивизии «Рейх». Но потребуют дальнейшей разработки операции «Кровавый Коба». Ваши действия?

Скорцени прошелся взглядом по залу ресторанчика, в котором появилось еще трое офицеров.

– Не сомневайтесь: здесь записывают, – признал Кальтенбруннер. – Но запись прослушиваю лично я. Иногда на пару с гестаповским Мюллером, за чашкой кофе. Поэтому в выражениях можете не стесняться, Скорцени.

– Мои действия будут заключаться в том, чтобы вообще не допустить покушения на Сталина.

На мгновение Кальтенбруннер замер, затем, уставившись на Скорцени, робко хохотнул, чтобы тут же разразиться хохотом. Причем, как показалось штурмбаннфюреру, вполне правдоподобным.

– На прослушивание этой записи мы, кроме Мюллера, пригласим еще и самого Кровавого Кобу. Орден Ленина он вручит вам лично. За поддержку «общепролетарского дела».

– Это я когда-нибудь вручу ему орден. Лично. Сняв его с собственного мундира. Если уж на один из наших крестов не расщедрится кто-либо из высшего руководства.

– Скорцени, когда я перескажу наш разговор Мюллеру, он поверит мне без всякой записи. И единственное, что я смогу сделать для вас, – это дважды навестить в его подвалах. Да и то под видом допроса бывшего подчиненного. – Если Кальтенбруннер и шутил, то это была «шутка Кальтенбруннера». Любой другой на месте Скорцени поневоле вздрогнул бы.

– Вы давно мечтаете сдать меня Мюллеру. Для меня это не секрет.

– Разве что вы здесь же, за этим столом, объяснитесь, штурмбаннфюрер. Допустим, заявите, что у вас разболелась голова. Основательно разболелась. Волнения последних дней, знаете ли...

– А зачем нам убивать великого друга Германии – Иосифа Виссарионовича? – спокойно произнес штурмбаннфюрер, вспомнив свою недавнюю беседу с Гольегом. – За всю войну против Советов мы не истребили и сотой доли той массы советских генералов и офицеров, которую истребили в России под его мудрым руководством. Даже если бы я бросил на Россию всю свою диверсионную рать, я не сумел бы расстрелять и загнать в лагеря и половины всей той орды ученых, конструкторов, инженеров, военных специалистов, которую коммунисты перестреляли и загнали в лагеря по приказу этого «верного ленинца».

– Да вы Мефистофель, Скорцени! – не удержался Кальтенбруннер. – Вы вводите нас в пропагандистский блуд.

– Не сбивайте меня с мысли, обергруппенфюрер. Скажите: смогли бы мы внедрить в Кремль агента, который бы почти полностью обезглавил Красную армию, расстреляв трех маршалов из пяти и на семьдесят процентов истребив опытные офицерские кадры? Да никогда!

А мог бы еще кто-нибудь выставить перед всем миром в таком кровавом свете саму идею коммунизма, как это сделал режим Сталина? Да никто и никогда!

– На это не хватило бы сотни наших Геббельсов.

– Вот почему, когда я слышу разговоры о необходимости покушения на Сталина, на нашего дорогого Кровавого Кобу, я задумываюсь: уж не враг ли нашептывает нам эту идею, – со снисходительной улыбкой взглянул Скорцени на вытянувшееся от удивления лицо доктора Кальтенбруннера и, запив собственный успех хорошей порцией пива, продолжал: – Если спокойно, без истерики, проанализировать все, что сделал для нас «вождь всех времен и народов», то не убивать мы его должны, а наоборот, расставлять вокруг Кремля своих людей в штатском, дабы, не приведи Господь, какому-то сумасброду, обиженному Сталиным, не пришлось в голову пальнуть в него. Я, конечно, расстроюсь, узнав, что операция «Кровавый Коба» не удалась. Но расстроюсь лишь как профессионал, восприняв этот срыв как собственное упущение. Но отнюдь не как политик. И вам, уж простите, обергруппенфюрер, расстраиваться тоже не советую.

Тяжелая нижняя челюсть Кальтенбруннера отвисла так, что на посиневшей губе появилась запекшаяся лошадиная пена, которая обычно остается после длительного галопа.

– А ведь это целая теория, штурмбаннфюрер, – наконец пришел он в себя. – Развивайте ее, Скорцени, развивайте. Не лишайте мир своего диверсионного озарения.

– Вы, конечно, возразите: но ведь теперь Сталин организывает оборону своей страны. Его армия противостоит нам. А что ему остается делать, если вместо того, чтобы в очередной раз продать ему аккуратно составленное досье на одного из его командующих, как мы это делали на «врага народа маршала Тухачевского»³, предоставив Кровавому Кобе самому расправляться с собственной армией, мы двинули против него войска? А ведь еще недавно, поднимая бокал с отменным грузинским вином, товарищ Сталин провозглашал: «Я знаю, как сильно любит германский народ своего вождя, вот поэтому я хотел бы выпить за его здоровье»⁴.

– Вы правы, такое было.

– Еще бы! Жаль только, что в нашей прессе этот тост во время официального приема был подан без характерного кавказского акцента. Что очень сильно уменьшает его достоинство.

– Но совершенно не изменяет смысла. Хотя чего только не скажешь за столом, на котором искрится старое кавказское вино? – почти мечтательно вздохнул Кальтенбруннер.

– Как и не изменяет сути того факта, что Сталин и его подручные из Центрального Комитета истребили столько русских солдат, что вскоре нам придется ставить им памятники. И жертвам, и палачам. Если, конечно, к сегодняшнему дню мы все еще считаем Россию в числе своих врагов. Я глубоко убежден: не начни мы этой войны, Сталину трудно было бы скрыть от мира истинную цифру казненных. Но тогда его режим был бы повален восстанием в самой России и гневом западного мира.

Кальтенбруннер ничего не ответил. Они молча доели свой далеко не шикарный обед и так же молча рассчитались с официантом.

– Я-то думаю: почему вдруг вас начали прочить в императоры Франконии, Скорцени? – несколько рассеянно пробубнил Кальтенбруннер. Его почти обеззубевший рот и так редко подносил образцы настоящей дикции, но когда он еще пытался что-то невнятно пробубнить...

³ Имеется в виду реальный факт. В мае 1937 г. имперская служба безопасности передала ведомству «верного ленинца» Ежова досье, в котором агенты возглавлявшего тогда СД Р. Гейдриха собрали материалы, в основном фальшивые, где маршал Тухачевский представал в образе заговорщика. Расчет был верным. СД учитывала разгул коммунистического террора в Советском Союзе. И он полностью оправдал себя. Почти все члены трибунала, который приговорил Тухачевского к казни, тоже потом были казнены. Как и многие «сообщники» маршала. Специальный гонец Сталина щедро отблагодарил фашистов за эту услугу тремя миллионами рублей золотом из «закромов Родины».

⁴ Цитируются слова И. Сталина.

– Ничего не поделаешь, господин обергруппенфюрер. У Скорцени врагов не меньше, чем у вас. Им бы меня хоть на виселицу, хоть в императоры.

13

– Так как вы изволили выразиться тогда, коллега? – уже несколько веселее спросил Беркута учитель-палач, когда тот выбрался из кузова грузовика. – «Жизнь есть жестокое милосердие божье»?

– Точно, – процедил Беркут.

– А что, мудро сказано. Интересно, кому принадлежат эти слова? «Жизнь – есть жестокое милосердие Божье!» Похоже на девиз рыцаря-крестоносца.

– На девиз одного из тех, кто вынужден был жить, зная, что спасение свое купил ценой жизни другого человека.

– «Вынужден был жить»? Но ведь жить. Так откуда трагические ноты?

– Заплатив за это ценой жизни другого? Кто точно так же хотел во что бы то ни стало выжить, спастись. Божественное решение.

– Что вы собираетесь этим сказать, коллега?

– То, что гибель пленного из похоронной команды – это ваше преступление. Ваше, а не мое, «кол-лега».

– Вас убедили в этом оставшиеся в живых могильщики?

– Нет, почему же.

– Они, – свирепо улыбнулся офицер. – Они-они. Мой вам совет: никогда не слушайте могильщиков.

– Дело не в них. Нельзя было расстреливать того, кто бросился вытаскивать меня из могилы.

– А любого другого – можно? Тогда ваша совесть была бы чиста?

Беркут потупился, словно осознавший свою неправоту школьник. Обер-лейтенант презрительно, не по-учительски посмотрел на него, поиграл желваками, наверное, сдерживая при этом вспышку гнева, и наконец произнес:

– Вы неблагодарная свинья. Впрочем, ничего другого от вас, русских, ожидать и не приходится.

– Дело не в благодарности.

– Молчать! Моя команда будет продолжать расстрелы каждый день, в течение двух следующих недель. В любой из этих дней вы можете обратиться к любому охраннику, и я заменю вами первого попавшегося обреченного.

– Это обязательно?

– Таким образом у вас появится прекрасная возможность искупить свою вину перед заменившим вас пленным. Тем, рыжим. А пока, из чувства профессиональной солидарности, я устрою вам райскую жизнь. В этом-то лагере! Райскую. Несмотря на всю вашу русско-свинскую неблагодарность. Эй, солдат, отвести пленного в санитарный блок. Передай старшему блока мой приказ: ни в коем случае не трогать его! До особого распоряжения. Питание – усиленное. Жизнь – это действительно жестокое милосердие, коллега, – снова обратился он к Беркуту. – Но ведь запомнить фразу – это еще не все. Запомнить и хвастаться ею – тоже еще не все! Нужно осознать, охватить внутренним чувством души всю бездну ее мудрости. Всю вещую прорицательность ее.

14

Десантирование прошло удачно. Они приземлились метрах в ста друг от друга, на небольшом заливном лугу, подступающем к опушке соснового леса. Быстро затопили в ближайшем болотце парашюты и направились к чернеющему неподалеку оврагу.

– Кажется, высадились там, где намечалось, – проговорил Меринов, стараясь ступать след в след за командиром группы. – В любом случае взять след на этом лугу собакам будет трудно.

– Сейчас это главное. Да не дрожи, прорвемся...

– С чего ты взял, что я дрожу? –дохнул ему в ухо Меринов, и Кондаков подсознательно ощутил опасность, которая таилась в его приближении. Что-то показалось подозрительным. Меринов вел себя так, словно решался: здесь прикончить своего напарника или потерпеть до опушки?

– Держи под присмотром левый участок леса, я – сектор справа. Только не торопись палить: документы у нас в порядке, а отступать некуда.

– По лугам долго не побегаешь, – хрипло пробасил Меринов. Он был почти на голову выше рослого Кондакова и намного шире в плечах.

Избирая его в напарники, Кондаков прежде всего рассчитывал на силу Меринова и его воровскую закалку. Но именно эта воровская закалка настораживала теперь «майора» – он уже постепенно привыкал к своему временному, но вождьленному званию.

«Человек без совести и принципов. Зато во сто крат лучше приспособлен к подпольной жизни, чем ты», – подумал Аттила, подбегая к ближайшему дереву и притаиваясь за его широким стволом.

– Брось, майор, никакого черта здесь нет, – медлительно прошел мимо него Меринов, сгибаясь под тяжеловатым рюкзаком. – И вообще, хватит бояться. Мы уже, кажется, на своей земле.

– На «своей», говоришь? На своей, да среди врагов.

Понимая, что не время сейчас вести философские беседы, они замолчали и, сориентировавшись по карте, начали уходить на восток, все углубляясь и углубляясь в лес, освещаемый чистой, словно небесный родник, по-цыгански щедрой луной.

Под утро, после изнурительного марш-броска по хитросплетениям лесных оврагов, они неожиданно наткнулись на хорошо замаскированную землянку. Стены ее были старательно обшиты бревнами, крыша имела два толстых наката, жестяная труба выходила в полый, полустлелый ствол дерева.

– Ты что, знал о ее существовании? – недоверчиво поинтересовался Меринов. – Специально вел к ней?

– Кабы специально, вряд ли нашел бы и через трое суток. Ты же видишь, по каким овражным лабиринтам пришлось шастать.

– А не окажется, что утром сюда заявится хозяин? – осматривал капитан при свете фонарика прочные двухэтажные нары, бревенчатый перестенок, разделявший эту большую землянку на две части; вход в небольшое подземелье, служившее своеобразным погребком.

– По-моему, мы набрели на пристанище какого-то беглого уголовника.

– Не похоже. Строили по-армейски.

– Точно, слишком старательно прилаживали. Тогда что же, готовились к партизанской войне на случай захвата немцами Москвы?

– Это другой разговор. Рядом с ней должен был бы появиться целый партизанский лагерь. И не похоже, чтобы с той поры, когда надобность в ней отпала, ее очень уж разграбили.

Землянка оказалась на удивление сухой. Довольно объемистая печка-буржуйка, столь знакомая обоим русским, очень быстро наполнила ее теплом, сладостной усталостью и тягостными воспоминаниями.

С непростительной в их положении беспечностью, позабыв о печке и не позаботившись о дежурстве, диверсанты уснули бесшабашным сном лесоповальщиков, для которых жизнь начиналась с того момента, когда они добирались до нар и погружались в забытие.

15

Командир «ликвидационной», как ее называли в лагере, команды явился в санитарное отделение лишь через неделю. Когда Беркут уже потерял надежду когда-либо увидеть его.

К тому времени в блоке, который только в издевку над его обитателями можно было назвать «санитарным» и который был рассчитан на пятьдесят мест, оставалось лишь трое обитателей: староста одного из бараков, избежавший ликвидации, очевидно, благодаря своему усердному служению лагерному начальству; да лагерный парикмахер и фотограф, поляк по национальности, которого свалила гипертония и которого, как он сам считал, завтра должны были увезти туда, куда увозили всех остальных обитателей этой «преисподней медицины».

Третьим оказался Беркут, записанный теперь как Борисов Владимир Степанович, бывший красноармеец, ныне рабочий похоронной команды, зарегистрированный под лагерным номером 116343.

Увидев обер-лейтенанта, староста и парикмахер довольно прытко, насколько были способны на это, поднялись со своих нар и застыли, словно по команде «смирно». Беркут же так и остался стоять у затянутого стальной сеткой окна, из которого видна была часть лагерного двора, в совершенно непринужденной позе. Лишь чуть повернулся лицом, чтобы хоть краешком глаза видеть вошедшего.

– А что делают здесь эти? – мрачно спросил обер-лейтенант у немца-санитара, который, как Беркут понял из его рассказа, когда-то действительно был санитаром одного из военных госпиталей, но «из-за словесного невождержания» оказался в концлагере. Какое-то время его использовали в похоронной команде, вместе с пленными, но затем перевели сюда, что рассматривалось им почти как помилование.

– Этот – староста барака, – объяснил санитар. – С язвой желудка. Комендант просил пока не трогать его. А тот, второй, уже «ангел». Завтра он будет вашим.

Беркут заметил, как поляк пошатнулся и лишь огромным усилием воли заставил себя устоять на ногах. Немецкого языка он не знал, но слово «ангел», которым называли здесь всех, кто был определен как «медицински безнадежный» и подлежал переводению в «ангельский загон», для ликвидации, он, конечно, понял. Это было первое немецкое слово, которое немедленно заучивали все новички.

«Значит, я тоже “ангел”, – пытался предугадать свою судьбу Беркут. – Мое знание немецкого языка санитар не смутит».

– Тот, что у окна, находится в блоке?..

– Я не намерен вам объяснять, почему он здесь, – резко прервал его обер-лейтенант. – Вы свободны.

– Простите, хотелось как лучше.

– Что-то не слышно заявлений о желании искупить вину перед тем, кто заплатил своей жизнью за вашу, – хищно улыбнулся обер-лейтенант, приближаясь к Беркуту. – Разве что санитар забыл сообщить мне об этом? Не слышу вдумчивого ответа. Беркут, он же лейтенант Андрей Громов.

Немец говорил вполголоса, и вряд ли обреченные могли слышать каждое его слово. Тем более что прислушиваться к подобным объяснениям здесь не рекомендовалось.

– Я искупаю эту вину каждый день. Мне еще столько раз представится возможность умереть, что проситься в «ангельскую» команду по собственной воле просто нет смысла.

– То-то же и оно, – помахал немец тонким костлявым пальцем перед лицом Беркута. – То-то и оно. Все мы, педагоги, страдаем пристрастием к демагогии, все пытаемся мучиться некими нравственными муками, которые остальную часть человечества в это жестокое время совершенно не волнуют.

– Стоит ли впутывать педагогику? Должно же быть что-то святое.

– Святое? – хмыкнул обер-лейтенант. – Впрочем, да. Мы ведь говорим не о педагогике концлагерей.

– Лагерная педагогика? – задумчиво кивал головой Беркут. – После войны она составит особый раздел науки.

– Однако вернемся к одному из примеров, которым она несомненно будет оперировать. И весьма поучительному примеру. Мне сразу же было ясно, что ваша бравада тогда, после возвращения «с небес» – всего лишь словесная очистка совести. Но, кажется, вы и сейчас готовы повторить ее.

– Я обязан вам спасением, господин обер-лейтенант. И очень признателен, – поспешил Беркут вывести разговор из этого гибельного русла. – В конце концов вы рисковали из-за меня. Было бы несправедливо сводить на нет ваши гуманные усилия. Говорю это откровенно, как педагог педагогу.

Командир ликвидационной команды мстительно рассмеялся. Жалкая уловка! Но, прервав смех, неожиданно смягчил тон.

– Вот это уже другой разговор, кол-лега, другой разговор... Понимаю, что иного ответа для вас просто не существует.

Они примирительно помолчали.

– У меня просьба: помилуйте этого несчастного фотографа-парикмахера, – кивнул Громов в сторону поляка. – Дайте ему еще недельку. Он придет в себя, поправится. Лагерю ведь все равно нужны и парикмахер, и фотограф. Так вот он – в одном лице.

– За старосту небось не попросите. Он вам неприятен. Как школьный доносчик.

Обер-лейтенант был почти одного роста с Беркутом, только выглядел слишком исхудавшим. Попади он сейчас в лагерь в роли заключенного – на другой же день оказался бы в числе «ангелов». Когда немец говорил, то старался наклоняться над собеседником, как тысячи раз наклонялся над провинившимся учеником, прислушиваясь к его невнятному бормотанию.

– Прежде всего – этот способен сам попросить за себя. Да и доносчиков я действительно...

– Ладно, Беркут. Согласен. Подарю вашему любимцу-парикмахеру еще недельку. Но каждый день к нему будут приводить человека, подлежащего уничтожению вместо него. И, ясное дело, каждый раз это будет другой человек. Такой прием лагерной педагогики вас устраивает?

16

Когда совещание у фюрера завершилось и все, кроме Гитлера, вышли в приемную, Борман неожиданно взял Шелленберга за локоть. Шеф службы внешней разведки с удивлением взглянул на рейхслейтера, и на холемом, еще довольно молодом лице его тень высокомерия наложилась на гримасу неприкрытой брезгливости, чтобы в конечном итоге высветиться добродушной дипломатической улыбкой.

– Неплохая штукавина ваш радиопередатчик, бригаденфюрер, – мрачно проговорил Мартин, полусонно уставившись на Шелленберга из-под припухших век, в просвете между которыми его зрачки смотрели на генерала СС, словно в прорезь стрелковой амбразуры.

– Говорят, вы испытывали его лично.

– Врут, как всегда. В таких делах Борман обычно полагается на специалистов.

– Насколько я понимаю, аппарат продолжает исправно служить одному из ваших доверенных лиц. Если учесть, что подобных машинок в деле пока что всего четыре и что всякий разведчик мечтает о них... Нет, совершенно напрасно в глазах рейхсканцелярии, генералитета и некоторой части политиков мы до сих пор значимся в соперниках.

Они чинно раскланялись с фельдмаршалом Кейтелем и подождали, пока мимо пройдет Генрих Мюллер.

– Вы ведете себя, как неопытные заговорщики, друзья мои, – безынтонационно проворковал шеф АМТ-4⁵, останавливаясь возле них. – Поверьте моему опыту, в наши дни это опасно. Даже если заговор освящают исключительной заботой о спасении Германии.

– Мы в этом уже убедились, – в том же духе заверил его Шелленберг.

– Лично вы – пока еще нет, – воинственно осклабился Мюллер. – Но многие другие – да. Пора извлекать уроки, которые уже очень трудно будет усваивать генералу Фромму и его коллегам⁶.

Борман привычно запрокинул голову на правое плечо и что-то зычно просопел в ответ – то ли иронизируя над патриотическим рвением шефа гестапо, то ли негодуя по поводу его бесцеремонного вторжения в беседу.

– На чашку кофе не приглашаю, – не обратил внимания на его реакцию обергруппенфюрер. – Сами слышали: дела. Но если понадобится моя помощь, не стесняйтесь, друзья мои. Мало ли чего могут наговорить о «гестаповском Мюллере» его недоброжелатели.

– Но мы-то им не верим, пока что... – процедил Борман.

– Иначе стал бы я вам давать советы, как вести себя во время очередного заговора, – уже на ходу самодовольно бросил обер-гестаповец.

Выслушав до конца репризу «гестаповского Мюллера», бригаденфюрер вновь молчаливо обратил взор на рейхслейтера.

– Моя просьба действительно касается новейшего передатчика, – мрачно подтвердил Борман. Он никогда не скрывал, что само появление Мюллера способно основательно испортить ему настроение.

– До чего же он понравился вам!

– Мой человек тоже не жалуется. Но хотелось бы обсудить кое-какие детали. Кажется, еще одна такая штукавина находится сейчас у вас в кабинете?

– Мюллер донес? – улыбнулся Шелленберг. – Признайтесь, господин рейхслейтер.

В ответ Борман лишь лениво прочавкал толстыми лоснящимися губами.

⁵ АМТ-4 – так значилось возглавляемое Г. Мюллером управление Главного управления имперской безопасности, известное во всем мире как гестапо.

⁶ То есть участникам заговора против фюрера в июле 1944 г.

- В любом случае можете заглянуть ко мне. Если понадобится, вызову специалиста.
- Не понадобится.
- Мюллер был неточен: у меня три такие штуковины. Но все это – опытные образцы.
- При чем здесь Мюллер? – побагровел начальник партийной канцелярии фюрера.

Когда они выходили из здания рейхсканцелярии, несколько генералов удивленно посмотрели им вслед. Ни для кого не было секретом, что Борман и Шелленберг основательно не ладили, а всякое сближение двух недавних недругов воспринималось при «дворе» фюрера с нескрываемым подозрением. Особенно оно усилилось после подавления путча, когда во всех эшелонах власти начали появляться новые люди, переоцениваться отношения, перегруппировываться круги и служебные кланы.

Борман вообще не любил посещать чьи бы то ни было кабинеты, даже друзей и знакомых коллег. Не зря он давно прослыл «домоседом», предпочитая все вопросы решать в родных стенах. Это «старик Мюллер» мог в любое время нагрянуть к кому бы то ни было, без всякого повода и предупреждения, и вести себя так, что хозяин кабинета с ужасом начинал выяснять: уж не арестован ли он?

Но в кабинете Шелленберга он вообще был впервые. Ступив на выдержанный в зелено-вато-коричневых тонах толстый персидский ковер, рейхслейтер прежде всего обратил внимание на то ли старинный, то ли сработанный под германскую старину шкаф – с резными дверцами, фигурной латунной фурнитурой и щедро украшенным узорами стеклом. Этот шкаф, ворсистый ковер и огромный стол из черного дерева – как и заставленные телефонами вычурный передвижной столик, обрамленный роскошными креслами, – создавали в кабинете некий аристократический стиль и дух, которые всегда действовали на Мартина угнетающе. Все, что было связано со стариной и аристократизмом, заставляло его тушеваться и чувствовать себя конюхом на придворном балу.

– Я вижу, война не лишает вас приверженности к роскоши, – сухо вато проворчал Борман, демонстративно впечатывая шаг в ковровые узоры.

– Разведка, господин рейхслейтер, никогда не вершилась в блиндажах.

– Вот почему о вашей вилле в Гедесберге ходят почти такие же легенды, как и о вилле Геринга. – Помня, что в кабинете шефа внешней разведки он появился и в виде просителя, Борман все же постарался придать своему ворчанию некую форму благодушия и даже восхищения. Однако никакого внимания на его усилия Шелленберг не обращал.

– Почти... такие же, – подчеркнул бригаденфюрер. – Вот то, что с каждым днем интересуется вас больше и больше, дорогой рейхслейтер, – извлек он из сейфа небольшую дамскую сумочку, портсигар и «плитку шоколада». – Три опытных образца. Мне, правда, пришлось покритиковать моих коллег из отдела технических средств ведения разведки за убогость выбора. Но они обещают исправиться. Терпеть не могу людей, лишенных изобретательности.

Борман бегло осмотрел все три образца, однако более предметно заинтересовался сумочкой из черной лакированной кожи. Первый осмотр ее ничего не дал.

– Приподнимите нижние края вмонтированного в боковинку зеркальца, – подсказал Шелленберг.

За зеркальцем действительно скрывались небольшой, похожий на телефонный, диск, три кнопки, розетка, благодаря которой автоматический радиопередатчик подключался к обычной электросети, и гнездо для антенны.

– Все – до примитивного просто. Вы нажимаете крайнюю правую кнопку и кодируете весь текст набором цифр на диске, который тут же записывается на заложенную в аппарат магнитную ленту. Вместительность – порядка двух машинописных страниц. Как только текст введен в память, вот этой, средней, кнопкой включаете индикатор настройки, и радиопередатчик автоматически передает ваше донесение на приемную станцию.

– Запеленговать передачу невозможно, поскольку сеанс длится всего доли секунды, – завершил его инструктаж Борман. – Один из моих агентов уже использует подобный передатчик, сработанный под портсигар.

Шелленберг вопросительно взглянул на рейхслейтера.

– Нет, как я уже сказал, замечаний к устройству нет. Другое дело, что мне понадобится еще один такой же передатчик. И приемное устройство, которое находилось бы под моим личным контролем. Вы ведь знаете, что речь идет об особом задании фюрера.

Бригаденфюрер взял сумочку, повертел ее в руках и положил назад в сейф.

– Один радиопередатчик мы еще кое-как сможем выделить вам, господин рейхслейтер. В виде портсигара. Вас это устроит? Нет, предпочитаете подстраховаться дамской сумочкой?

– Я не желаю впутывать в наше дело женщин, – проворчал Борман.

– Тогда остановимся на портсигаре. Но что касается принимающего устройства... увы, ничем помочь не могу.

– Потому что ваши бездельники не способны изготовить еще одну такую же штуковину?

– Эта «штуковина», господин Борман, занимает три комнаты, битком набитые аппаратурой. Сделать ее переносной, а тем более – миниатюрной пока что вообще не представляется возможным. В то же время у нас нет средств и для монтажа еще одного «трехкомнатного» устройства. Боюсь, что пока мы его осуществим, война кончится и затеянная вами операция утратит всякий смысл.

Шелленберг видел, как медленно и воинственно задвигались массивные, словно жернова, перемалывающие камни, челюсти Бормана. Какие такие мысли и слова дробились под ними, шефу разведки так и не дано было узнать.

– Благодарю, бригаденфюрер, – наконец грузно поднялся рейхслейтер. – Ваш портсигар понадобится мне ровно через две недели. И запомните: затеянная руководством партии операция, осуществлять которую помогаете и вы, не утратит своего смысла и через сто лет.

– Две недели – вполне приемлемый срок. Мои умники постараются...

Шелленберг подался вслед за рейхслейтером, чтобы проводить его, но у двери Борман остановился.

– Кстати, вам что-нибудь известно о том, чем завершилась попытка нашей диверсионной группы убить Сталина?

Шеф внешней разведки глуповато взглянул на Бормана и столь же невинно улыбнулся. Он ожидал какого угодно вопроса, только не этого.

– О какой группе идет речь, дорогой рейхслейтер?

«Неужели действительно не знает о такой группе?! – изумился руководитель партийной канцелярии. – Чем же он тогда занимается здесь?»

– Уж не хотите ли вы сказать, что впервые слышите о ней?

– Я все еще не могу похвастаться, что посвящен во все операции, затеваемые Кальтенбруннером и Скорцени. И потом, насколько я знаю, «первый диверсант рейха» все еще находится в пределах Германии. Кто кроме него способен если не доставить вождя пролетариев в Берлин, то по крайней мере отправить его на тот свет?

– А я знаю: ни черта у них там не вышло. Сталин по-прежнему в Кремле.

– И будет находиться в нем, пока за него не возьмется лично Скорцени. А за информацию – благодарю.

«Не портсигар ему нужен был, – недоверчиво подвел итог их беседы Шелленберг, глядя в сутулую, слегка перекошенную спину Бормана. – Хотелось проверить, действительно ли такая операция проводилась. И почему сорвалась. Нужны были подробности, сунуться за которыми к Кальтенбруннеру или Скорцени он не решается. Похоже, я сильно разочаровал добряка Бормана. Не к добру это, не к добру...»

17

Проснувшись первым, Аттила осторожно приоткрыл дверь и, пригнувшись в неглубоком окопчике, по которому можно было добраться до края небольшой возвышенности, внимательно осмотрелся. Невысокий, поросший густым кустарником холм, на котором располагалось их пристанище, оказался чуть выше трех соседних холмов, от которых был отделен мрачными извилистыми оврагами. Лучи предосеннего солнца пробивали кроны старых сосен, соединяя свое блаженственное тепло с острым запахом прелой хвои, древесной смолы и еще чего-то такого, чем способна очаровывать только сосновая роща.

– А ведь не хочется уходить отсюда, а, майор? – услышал он позади себя сонный бас Меринова и, медленно, по-волчьи поворачиваясь всем туловищем, оглянулся.

– Ты уже начинал этот разговор, капитан, но так и не завершил. А пора бы.

Они вдвоем еще раз внимательно осмотрели окрестности и, не выходя из окопчика, вернулись в землянку. Там они открыли по банке говяжьей тушенки и молча поели, запивая свой обед разведенным спиртом из фляг.

– Так договаривай, капитан, – они условились, что будут обращаться друг к другу только по званию, чтобы случайно не вырвалась кличка или настоящая фамилия. По документам Кондаков был майором Носачевым, Меринов – капитаном Федуловым. Оба пехотные офицеры, только что вырвавшиеся из госпиталя и находящиеся в двухнедельном лечебном отпуске: на операцию «Кровавый Коба» им отводились именно эти две недели. Если они не укладывались, то обязаны были сами позаботиться о новых оправдательных документах и вообще выкручиваться исходя из ситуации. Возвращаться за линию фронта они имели право только после выполнения задания.

– Допускаю, что ты действительно немного знаком с этим твоим механиком из кремлевского гаража. И даже флиртовал с его женой...

– Брось, – поморщился Кондаков.

– Но меня это не интересует. Я знаю одно: к машине Сталина нас все равно не подпустят. За всеми этими механиками и автослесарями следят так, что нас с тобой возьмут сразу же, как только ты попросишь у кого-либо из них закурить.

– Чепуха, есть один ход-подход. Рискнем. Только бы «явочник» не сдал. Только бы он...

– Даже если мы выполним это задание, то нужно еще вернуться в рейх. А линия фронта уже вона где. И самолет нам сюда не подадут. К тому же, вернувшись, погуляем недолго, опять сюда забросят. Мы им там не нужны. А как только Германия запросит мира или вообще капитулирует, нас попросту сдадут энкавэдэ на растерзание.

– Ожидаешь, что буду спорить, доказывать? Говорить о присяге, долге перед рейхом? Ты не финти, капитан. Ты со мной по-русски говори. Сдаваться? Так и гутарь: сдаваться, и ворон тебя не клюй.

– Можно было бы и сдаться. Тогда у нас тоже появился бы шанс. Все же мы, считай, спасли вождя от гибели.

– Но вначале продались фашистам. Служили у них. Дали согласие совершить покушение, – Кондаков остановился в проеме двери, словно пытался загородить дорогу Меринову, препятствовать его бегству. – Но когда поняли, что выполнить задание не по зубам и что скоро нас обложат, как волков, побежали сдаваться. Вот и весь твой шанс, ворон тебя не клюй.

– Ты, майор, ожидаешь, что буду спорить? – саркастически рассмеялся Меринов, повторяя те же слова, которыми только что пытался охладить его сам Кондаков. – Что стану доказывать, говорить о присяге рейху?

– Тогда какого ж ты хрена? – вспылil Кондаков. – Провоцируешь, скотина?!

– Ничему тебя в Германии не научили, майор. Никакой интеллигентности в тебе. Никакого офицерского лоску. А заметил, как там, у них, ведут себя офицеры? Если уж офицер – то видно, что это офицер.

– Слушай ты, зэк-ворюга! – ударился в еще большую ярость Кондаков. – Ты на себя, на свою суконно-лагерную рожу глянь... – Он хотел добавить еще что-то, но, встретившись со взглядом Меринова, усилием воли сдержался. – Впрочем, что это мы? – примирительно пробормотал майор, выходя из землянки. – Давай прекратим этот разговор. Нам еще вместе дело делать...

– А ты и не обидел меня, – похлопал по плечу Меринов, протискиваясь мимо него в дверь. – Я годами приучивал себя не вскипать, не обижаться и не таить зла.

Диверсанты оставили землянку и, соблюдая все меры предосторожности, вновь обошли возвышенность, осмотрели окрестные холмы. Они решили выступить под вечер, чтобы к утру добраться до шоссе и сесть на первую попавшуюся попутку. Всего в семи километрах была железнодорожная станция. Но они знали, что ничто так не контролируется, как станции, и решили не рисковать. Вдруг об их высадке уже знают.

– Если честно, я ожидал, что рано или поздно ты заговоришь об этом, – сказал Кондаков. – Что у тебя появится мысль явиться с повинной.

– У тебя ее не появлялось, свадебный майор?

Они вновь схлестнулись взглядами, и вновь Кондаков отступил:

– Ладно, я тебе не Бог и не гестапо. Но чтобы больше я этого не слышал. На такой риск нужно идти, будучи уверенными друг в друге. Или сразу же разбежаться.

Меринов ухмыльнулся своей особой блатной ухмылкой, которая всегда корбила Кондакова. Но ничего не ответил.

Они знали, что раз стоит землянка, значит, где-то рядом должен быть ручей или родничок. И нашли его на соседнем холме, под корнями старого дуба – совсем миниатюрный, словно маленькая лужица. Но эта лужица давала исток такому же хиленькому ручейку, незаметно пробивавшемуся по склону и здесь же, в балке, уходившему под землю. Вода в нем оказалась на удивление холодной и солоновато-терпкой.

– Минералка какая-то, что ли? – проворчал Меринов, отплеываясь. – Но жрать можно. Особенно если хворь какая в нутре завелась. Вдруг излечит.

– Значит, сдаваться ты не хочешь. – Не вкус воды волновал сейчас Кондакова. Привкус предательства. – Тогда что же? Ехать в действующую армию, по этим документам вклиниваться в какой-либо полк и топтать на Берлин? Рассчитывая, что потом вернемся на гражданку уже с настоящими, фронтовыми?

– Не пройдем мы в действующей. Слишком большие чины. – Меринов вновь испил минералки, но в этот раз она показалась ему куда вкуснее. Как и майору. Они сидели по разные стороны родника, решив, что нужно дать шинелям проветриться, чтобы не чувствовалось запаха дыма. Как-никак шинели были новенькими. И возвращались они пусть из далекого, зауральского, но все же – госпиталя.

– Смершевцы с первого дня расколят так, что труха из нас посыпется.

– Тогда остается один выход – обосновываться в этой землянке?

– Жаль только, что дело к зиме идет, – облегченно вздохнул Меринов, обрадовавшись, что наконец-то майор пришел к тому единственно мудрому решению, к которому лично он пришел еще вчера вечером, как только они наткнулись на это лесное пристанище. – Если верить карте, в шести километрах отсюда – станция, в пяти – село, в четырех – небольшой хуторок.

– А ты поверь ей.

– Фронт мы с тобой, майор, прошли, в плену выжили. Как выживать в лесах и болотах, убивать и защищаться, нас тоже обучили дай бог каждому. Я ведь когда воровской малиной

увлекся, сотой доли того не знал и не умел, что умею сейчас. Ты – тем более. Другое дело, что по школьным наукам ты грамотнее меня.

– Но ведь мы же говорим сейчас не о школьных отметках.

– Верно... Мы говорим о том, что мы с тобой – здоровые, обученные, хорошо обмундированные и не менее хорошо обстрелянные мужики. У нас есть деньги и оружие. Даже мины у нас есть – что тоже может пригодиться. И явочная квартира... По крайней мере до тех пор, пока мы глаза германцам мылить будем да подыскивать тайные явки у местных вдовушек. Так какого черта совать голову в петлю? Немец ведь все равно обречен. Не согласен, лагерь-майор?

– Мы все обречены, – уклончиво поддержал его Кондаков. – Что дальше?

– А дальше – жизнь. Зиму перекантуемся. К весне переберемся ближе к югу. Войну переждем, а там посмотрим; то ли здесь с надежной ксивой осядем, приживемся, то ли за кордон махнем. Как его переходить – нас учили. Все же против большевиков сражались – с такой строкой в биографии нас должны там за своих принять. Чего молчишь, лагерь-майор?

Ход рассуждений капитана был ясен Кондакову еще до того, как тот заговорил, как изложил свой план. Однако «лагерь-майор» умышленно не раскрывал этого, желая услышать от всегда такого молчаливого, скрытного Меринова все, что тот вбил себе в башку.

– Какого ответа ждешь от меня, капитан?

– Хочу знать: принимаешь мой план?

Кондаков поднялся и посмотрел на Меринова сверху вниз. Тот продолжал сидеть, однако майор заметил, что рука капитана легла на расстегнутую кобуру.

– А если нет?

– Не станем же мы пулять друг в друга, лагерь-майор, – улыбка, которой он осветил свое лицо, показалась Кондакову крайне неискренней. Но какой еще ответ он мог ожидать сейчас от этого человека? – Разойдемся поутру-подобру. Ты не знаешь о моем существовании, я – о твоём. Не бойся, лагерь-майор, спасти Сталина я не собираюсь. Можешь считать, что я тебе его сдаю. Есть такой «жаргонек» в блатном мире – «сдавать». Тем более что мы с ним корешами никогда не были. Подельниками – тем более.

– Вот теперь все ясно.

– Тогда рожай решение, – поднимаясь с земли, Меринов старался не спускать глаз с правой руки Кондакова.

– Я продолжу выполнять задание. И не потому, что получил его от хозяев. У меня с Кровавым Кобой свои, еще сибирские счета. За Гражданскую, за раскулачку, сибирскую ссылку – в которой погибли два брата, сестра и оба родителя. Это не за деньги, капитан. Это принципиально, по ненависти.

– По ненависти? Если так – тогда по-нашему.

– Я все же пробьюсь к этой машине. И подложу мину. Я взорву ее, даже если самому придется под колеса лечь.

Взгляд Меринова заметно подобрел. Теперь он знал решение лагерь-майора, поверил ему и перестал опасаться.

– Да, цинга сибирская... Теперь я понимаю, почему Скорцени назначил старшим группы именно тебя. Я-то думал: вся хреновина в том, что имеешь знакомцев где-то поблизости гаража. Из всех нас, претендентов, – только ты. На его месте я бы тоже остановил свой выбор на тебе, мститель хренов.

– Ты просил сделать выбор. Я его сделал. Чем ты недоволен?

– А тем, что пара бы из нас получилась неплохая. Без напарника в нашем воровском деле туго. А ты обучен и вышколен. Самый раз.

– Подыщешь кого-нибудь. Впрочем, если после покушения жизнь прижмет меня... Давай договоримся, эту землянку ни энкавэдистам, ни милиции не рассекречивать. Ночевали в лесу – и все тут. Ровно через месяц, этого же числа встречаемся здесь. По-клятвенному.

– Мы что, лагерь-майор, уже прощаемся? – заколебался капитан. – Погоди. Куда торопишься? Дай хоть в Москве побывать. Разбежаться всегда успеем.

18

Беркут взглянул на поляка. Понял ли он? Как воспринял сказанное? Но тот обреченно смотрел в угол блока. Казалось, он уже совершенно не воспринимал всего того, что здесь происходило. Поляк давно переступил черту, за которой человек превращается в лагерного ангела-смертника, и потому ждал своего часа безропотно и почти бесстрашно. Ему можно было лишь позавидовать.

– Зачем вам понадобилось мारаться всем этим? Вам, педагогу? – почти сочувственно спросил Андрей. – Разве добро, которое время от времени делаете людям, обязательно должно сопровождаться такой вот жестокостью по отношению к ним?

– Это не жестокость! – резко отреагировал Гольц. – На каком основании вы называете жестокостью обычную справедливость? Вам что, неизвестно, что в лагере действует суровое правило: каждый день – двадцать четыре человека?

– Но мне известно и другое: лагерный закон палача – еще не справедливость.

– Речь идет о санитарной норме очистки лагеря от больных и неблагонадежных. Не я виновен в том, что, согласно приказу, эта очистка входит в обязанности моей команды. Я – солдат. Приказ для меня – закон.

– Понятно, – с трудом справился с собой Беркут, четко улавливая, что Гольц ищет оправдание своим садистским замашкам.

– Справедливость, о которой вы печетесь, на самом деле заключается в том, чтобы правила, режим лагеря оставались одинаковыми для всех, – не мог успокоиться обер-лейтенант. – Не допуская исключений. А уж справедливы они сами по себе или нет – это другой вопрос. Законам и приказам следует повиноваться, а не выяснять степень их благородства.

– С этим трудно не согласиться, – столь примирительной фразой Беркут не только спасал себя и поляка, но и признавал, что, как бы он ни относился к лагерному палачу Гольцу, каждое проявление милосердия к одному заключенному тот неминуемо вынужден восполнять жестокостью по отношению к другому. Иначе сам может оказаться в одном из таких же лагерей, предварительно пройдя через подвалы гестапо.

– Наконец-то начинаете прозревать. В концлагере своя, лагерная логика, которую еще нужно постигать. В то время как во мне еще бунтует несостоявшийся педагог. Профессия наложила свой отпечаток на нас обоих – да простят меня все те, кто в эти дни будет погибать за спасенного нами поляка.

– Вы нравитесь мне с той минуты, когда начинаете рассуждать здраво.

– Но пока что вы не знаете главного: над вами тоже вновь нависла угроза. Послезавтра решено обновить команду могильщиков, в которой вы сейчас числитесь. Люди не должны слишком долго задерживаться в этой команде. Тяжелая, нервная работа – она, видите ли, деформирует их психику... У нас это учитывается. Вы... способны понимать меня?

– Пытаюсь, – произнес Беркут, едва шевеля затерпшими губами. Только сейчас Андрей понял, что ту черту осознания себя «ангелом» лично он тоже еще не переступил, с обреченностью не смирился. Все это ему еще только предстояло пройти.

– Надеюсь, вы не стремитесь опять оказаться в могильной яме? Или попробуете, испытаете судьбу еще раз?

– Готов прислушаться к вашему совету, коллега, – вежливо ответил лейтенант, уходя от прямого ответа на столь же вежливый и безответный вопрос палача.

– В таком случае не стану терзать вас. О лагерной педагогике на время забыто. Сейчас мною движет только одно стремление – хоть чем-то помочь коллеге. Эдакая корпоративная взаимовыручка.

– Вы демонстрируете свое стремление куда более убедительно, чем кто-либо другой в этом мире.

– Неплохо владеете немецким и русским. Офицер. Молодой. Прекрасно сложены и, как мне кажется, все еще отлично выглядите. Я мог бы связаться с представителями абвера – это наша разведка. Успех не гарантирую, но кто знает... Вдруг там возьмутся за вашу подготовку. Нет, я понимаю: чужая армия, вражеская разведка... Долг, присяга.

– Вот именно.

– Извините, я о реальном шансе выжить.

– Согласен, реальном. Но дело в том, что я совершенно не гожусь для работы в абвере. И вообще в любой разведке. Да и предавать Родину, изменять присяге – последнее дело. Представьте себя на моем месте.

– Спасибо. У меня даже не хватает фантазии, чтобы представить себя самого на своем собственном месте.

– Я всего лишь сказал то, что обязан был сказать.

– «Обязан»! – хмыкнул обер-лейтенант. – Злоупотребляете моим снисхождением. Ну да ладно. В таком случае есть еще один вариант. Сегодня приедут медики, чтобы отобрать пятьсот самых здоровых и выносливых людей для работы на одном из немецких заводов. Завтра же этих счастливчиков посадят в эшелоны и отправят. По секрету скажу вам, что наш лагерь вообще должен быть ликвидирован.

– Я догадывался об этом. К этому все шло.

– Отсюда и нагрузка на могильную команду. Но сначала из лагеря отберут весь материал, годный к дальнейшему использованию, – обер-лейтенант оглянулся на все еще стоящих неподалеку старосту и парикмахера. Однако Беркут напомнил, что они не владеют немецким, и он успокоился. – Пригодных отберут, а всех остальных, как вы уже догадываетесь...

С территории лагеря, со стороны плаца донеслись звуки автоматной очереди, пере черкнувшей и заглушившей чей-то предсмертный крик отчаяния. Обер-лейтенант и Беркут умолкли и прислушались. Ни выстрелы, ни крик больше не повторялись. Словно и не было их, словно послышалось.

«Одним лагерником стало меньше, – пронзила мозг Беркута банальнейшая, по лагерным понятиям, догадка, – никак двадцать пятым». Но именно она подтолкнула его к решению:

– Я согласен, обер-лейтенант. Конечно, согласен, – вдруг заволновался он. – Внесите меня в список. Моя фамилия – Борисов, порядковый номер 116343.

Обер-лейтенант внимательно посмотрел на Андрея и, чуть помедлив, достал записную книжку. Записав фамилию и номер, он еще раз осмотрел Беркута, очевидно, ставя себя не на его место, а на место врача, отбирающего «людской материал».

– Думаю, с медиками у вас проблем не возникнет.

– Век признателен буду, господин обер-лейтенант.

– Надеетесь убежать? С поезда, по дороге? Конечно, надеетесь.

– Надеюсь выжить – так будет точнее, обер-лейтенант.

Видю, вы крайне неохотно называете меня коллегой, Борисов, – заметил офицер, уже уходя из блока. – А я бы предпочитал, чтобы вы обращались ко мне именно так. Ну да ладно. «Жизнь – есть жестокое милосердие божье». Прекрасно сказано! Считайте, что это изречение спасло вам жизнь. Хотя лично я больше отнес бы такое определение к смерти. Ибо на самом деле это смерть есть «жестокое милосердие божье».

– Наверное, все зависит от того, кто и как понимает смысл жизни. И в какие рамки поставила его судьба.

– Это уже философия, – неожиданно резко и холодно отрубил обер-лейтенант, словно доводить свои размышления до философской грани ему как педагогу и офицеру было непозволительно. И, не произнеся больше ни слова, ушел из санитарного блока.

19

– Послушай, лагерь-майор, ты, по-моему, не все говоришь. Если у нас есть эти коротковолновые... – постучал Меринов ногтем по замаскированному под пачку «Казбека» передатчику, – значит, мы наверняка можем вызвать самолет. И нас подберут. Где-нибудь на лесной опушке. Или в степи. Ведь подбирают же Советы своих, русских, то есть партизан.

– Если сможем сообщить, что задание выполнено, – за нами, возможно, и пришлют самолет. Но не раньше.

– А если убраться Кровавого Кобу не удастся?

– Тогда нужно убедить Скорцени, что это просто невозможно сделать. Но попробуй убедить в этом самого Скорцени.

– Вот видишь, я чувствовал, что знаю не все. Почему мы до сих пор не сообщили, что прибыли на явочную квартиру?

– На связь – через пять суток после приземления. Зачем засвечиваться? Запеленгуют. По мне, так вообще нечего в эфире распинаться.

– Таким было твое условие?

– Таким, – твердо ответил Кондаков.

– А почему ты перестал называть меня капитаном? Считаешь, что недостойн?

– Прошу прощения, господин капитан.

Вот уже вторые сутки они отсиживались на явочной квартире в небольшом подмосковном поселке. Хозяин ее, шестидесятилетний столяр-краснодеревщик, совершенно не удивился появлению гостей. Приняв пакет с деньгами, который предназначался ему в виде платы за постой и за службу, потом еще один, поменьше, на двухнедельное содержание своих «квартирантов», он иронично проворчал: «Ни черта они там толком не знают, что здесь почем на черном рынке. Ну да что с них...» И больше не встречал ни в какие разговоры-переговоры.

– «Господин капитан». Приятно звучит. Страшно подумать, что рано или поздно придется снять форму и опять стать обычным уркой. Не поверишь: иногда я действительно начинаю чувствовать себя офицером.

– Вернемся в Германию – и ты станешь им. Ведь и сейчас ты уже унтер-офицер.

– Я ведь уже сказал тебе, лагерь-майор: не вернусь я в Германию.

– Тогда почему до сих пор здесь, на явке?

– Ясное дело почему: нужно привыкнуть, осмотреться. Сегодня я целый час гулял по окраине Москвы. И весь час – в страхе: вот-вот остановят, проверят документы – и в подвал энкавэдэ. Под вышку. Под вечер шурану еще на часок. Пора подыскивать вдовушку, лет под тридцать. Ты-то к своим знакомцам по сталинскому гаражу когда двинешь?

– Завтра, утречком. Первый визит фронтовика. Разведка боем.

Под вечер Меринов действительно куда-то ушел. Как только за ним закрылась калитка, к майору наведалься хозяин, который предпочитал целый день возиться в саду или отдыхать в довольно теплой капитальной пристройке.

– Чего тянешь, майор? – мрачно спросил он.

– Вы о чем это, Петр Степанович?

– Знаешь, о чем. Пристройка моя с хитрецей. Тары-бары ваши подслушиваю... иногда. Напарничек твой на вольную запросил. К тому же, по жаргончику сужу, из бывших зэков. Он или сразу сдаст нас обоих, или через два-три дня в милицию попадет и там расколется.

– Он должен уйти... Мы так договорились.

– Из нашего дела, майор, или кто ты там на самом деле, так просто не выходят. – Старик был мал ростом и тощ телом. Дистрофически запавшая грудь его почти ежеминутно издавала надрывный кашель и астматические всхрипы, которые свидетельствовали о том, что земной

путь его уже недолог. – Из нашей игры так не выходят, майор. Предательство – великий грех. Зачем допускать, чтобы капитан губил свою душу?

– О душе заботишься?

– Ты прав, – перехватил он взгляд Кондакова. – Не жилец я на этом свете. Легкие... Да не боись, не туберкулез. Просто гнилые они у меня. Но все равно умереть хочу в своем доме, по-людски, а не в камере НКВД, под пытками.

Кондаков медленно закурил папиросу и потом долго и старательно гасил ее о каблук.

– С душой мы, допустим, разберемся. Что будем делать с телом?

– Усадьба у меня не то чтобы слишком уж на отшибе. Но неподалеку – парк, на краю которого небольшой овражек, давно превращенный в свалку. Там-то нам и придется потрудиться.

20

– Я никогда ничего не скрывал от тебя, Борман. Есть вопросы, обсуждая которые, я могу быть откровенным только с тобой.

«Майн кампф» лежала на высоком столике, словно на соборной кафедре, и фюрер склонился над ней, как великий грешник – над Святым Писанием. Предвечерний закат облагрив готическую строгость окна, превращая его в розовато-голубой витраж.

– С Борманом, мой фюрер, вы можете быть откровенны в любых вопросах. Потому что откровенны вы – с Борманом.

Гитлер одобрительно кивнул. Раз и навсегда избранная рейхслейтером форма высказывания о самом себе в третьем лице позволяла руководителю партийной канцелярии говорить со всей возможной откровенностью, не опасаясь выглядеть нескромным и не сдерживая себя соображениями некоего сугубо личного характера.

– Заговор, устроенный против меня генералами, очевидно, очень сильно подорвал авторитет Германии в Европе да и во всем мире. Чувствую это по поведению тех немногих союзников, которые у нас еще остались. – Несколько секунд Гитлер сидел, не поднимая головы, словно прислушивался к тому, как отреагирует на это горестное признание один из последних союзников, оставшихся у него здесь, в самом Берлине. Но поскольку партайфюрер предпочел безмолвствовать, Гитлер грузно поднялся и прошелся по кабинету. Даже сейчас на нем была нахлобученная на уши бронированная фуражка. Брюки военного покроя неряшливо оседали на высокие голенища сапог, а китель топорщился на спине и под офицерским ремнем. В этом одеянии фюрер выглядел так, словно собрался появиться перед строем почетного караула, однако не решался сделать это, заметив, что мундир его совершенно не соответствует случаю.

– Я не говорю сейчас о моем личном авторитете, Борман. О нем я как-нибудь позабочусь.

– Он непререкаем, мой фюрер. Свидетельствую об этом со всей ответственностью старого товарища по партии.

– Нет, Борман, – непринужденно продолжал свою мысль фюрер, – речь идет именно об авторитете Германии. Ибо свой личный авторитет я восстановил сразу же, самым жесточайшим образом подавив подлый заговор предателей.

Борман стоял, держась поближе к окну, и молча наблюдал за тем, как мечется этот вчера еще всевластный человек в клетке своего душевного смятения, в подземелье былого величия, в храме собственных неискупленных грехов. Рейхслейтеру казалось, что достаточно одного его слова, чтобы фюрер вновь ощутил себя властелином рейха или, наоборот, в который раз осознал всю безнадежность дальнейшей борьбы не только против неисчислимых врагов, со всех сторон обступивших страну, но и за власть в самой Германии.

Борман, эта «партийная тень фюрера», ничуть не сомневался, что такой силой воздействия он все еще обладает. Рейхслейтер не раз доказывал себе это, несколькими словами возрождая в Гитлере воинственный дух короля Генриха I времен битвы при Унтрусте⁷ или вгоняя его в еще большую депрессию, в мрак подозрительности, в озлобленность на все в мире, включая и свое ближайшее окружение.

Очень долго Мартин добивался права абсолютного влияния на вожда, оттесняя при этом всех остальных – фельдмаршалов, генералов, политиков, личных порученцев и астрологов. В то время, когда многие другие при дворе фюрера погибельно рвались к единоличной вла-

⁷ Король Саксонии (X век) – основатель династии, с которой нацисты вели исчисление тысячелетнего рейха. В битве при Унтрусте войска Генриха разгромили венгров. Во время этой битвы в руках у короля появилось «Копье судьбы», в дальнейшем – один из символов нацизма.

сти, прийти к которой можно было, лишь заполучив тот самый анафемский «труп Гитлера», без которого рухнул весь «заговор 20 июля», он, Борман, утверждал свое всевластие «тени фюрера», невидимого властелина не столько рейха, сколько души и духа Гитлера. И этого пока что было вполне достаточно, чтобы удовлетворить его личную жажду восхождения на олимп власти, его амбиции. Но только пока.

Партайфюрер уже давно сказал себе: «Для того чтобы когда-либо стать первым, нужно вначале научиться быть вторым». Первым, по его глубокому убеждению, человек может стать волею судьбы, совершенно неожиданно, на гребне слепого случая. А властвующими вторыми становятся, как правило, величайшие политики и величайшие интриганы. Впрочем, возможно ли слыть талантливым политиком, не будучи талантливым интриганом?

Став «партийной тенью фюрера», сконцентрировав в своих руках почти всю реальную власть над партией, Борман еще не почувствовал себя «властительным вторым». Но все же настоящим «копьем судьбы» стало его влияние на фюрера – повседневное, ненавязчивое, проявляющееся прежде всего в почти панической потребности Гитлера постоянно видеть Бормана рядом с собой – то ли как исповедника, то ли как злого гения-искусителя.

– Неужели они опять осмелятся, Борман?

– Наши генералы? – встрепнулся рейхслейтер, с трудом вырываясь из собственных грез величия. – Осмелятся, мой фюрер, осмелятся.

Гитлер остановился и удивленно уставился на рейхслейтера. Решительность, с которой Борман произнес эти слова, была слишком отчаянной даже для «партийной тени фюрера».

– Некоторые из тех, что сумели отсидеться во времена наших чисток в июле... Им ведь нечего терять. Они ведут себя, как смертники. А потому все еще могут осмелиться. Но мы сокрушим их. Мы их сокрушим. Они обречены, мы их!..

– Не надо об этом, Мартин, – недовольно прокряхтел Гитлер. При всей своей ожесточенности по отношению к заговорщикам и членам их семей на него временами находили волны смятения. И тогда он вспоминал слова одного из генералов, который, зная об устроенной фюрером при подавлении путча мясорубке, воскликнул: «Да стоит ли жизнь этого губителя рейха крови столькоких достойнейших людей Германии?!» И, сам тому удивляясь, Гитлер действительно начинал задумываться: стоит ли? Оправданы ли будут подобные репрессии в глазах миллионов германцев после того, как война закончится и мысли людей, столь чуждых ему сейчас, обретут вновь христианский образ.

Поняв, что произошел тот редкий случай, когда он не сумел уловить настроения вожака, рейхслейтер тут же решительно подошел к столику, взял в руки «Майн кампф» и, держа ее, как Библию, на обеих ладонях, отчеканил:

– Их-то мы сокрушим, мой фюрер, в этом я нисколько не сомневаюсь. Удастся ли сокрушить всех тех, кто осмелится оценивать наши деяния и писать «библейские мифы» рейха? Его историю. Я давно хотел сказать вам об этом, мой фюрер. Борман всегда прямо говорит то, о чем думает он сам и многие его товарищи по партии. Нам нужен новый «Майн кампф».

– Новый... «Майн кампф»? – почти с ужасом спросил фюрер, не в состоянии поспевать за ходом мыслей рейхслейтера.

– На этой, первой книге учились мы – фронтовое поколение, старые партийцы, сумевшие сотворить величие Третьего рейха. Но те, что придут после нас... Нет, вы поймите Бормана... Если уж он заговорил о будущем, то он действительно заговорил о том будущем, которое воскресит или умертвит в умах и душах германцев наше с вами дело, мой фюрер. Последующие поколения должны слышать сагу о нашей борьбе из уст самого фюрера. Вторая «Майн кампф» поведает им о том, как мы утверждали Третий рейх, как сражались и погибали под его развалами. Что мы при этом думали, куда шли и какими помыслами руководствовались.

– Но сейчас у меня нет для этого времени, Борман, – слишком холодно и рассудительно возразил Гитлер. – Меня занимает совершенно иное: армия, положение на фронтах, погибельное состояние экономики, дипломатия...

– Впредь это пусть занимает наших фельдмаршалов, политиков и экономистов. Мы, ваши старые товарищи по партии, видим призвание фюрера в том, чтобы дать германцам, национал-социалистам всего мира новую священную книгу. В ней будет изложена вся та правда, которая в конечном итоге станет истинной теорией и историей нашего движения в тридцатые-сороковые годы. Нельзя тянуть с ее созданием. Приступить следует немедленно. Сегодня же. Борман, ваш секретарь⁸, готов помочь в этом.

– Но не время сейчас, – поморщился фюрер, еще больше раздражаясь. Хотя чувствовал, что неправ. – Не время!

Однако Борман не ошибался: тянуть с книгой не стоило. Если только решиться на нее. Другое дело, что Гитлер никогда не говорил с рейхслейтером на эту тему. Каждый раз, когда фюрер решался перечитывать или хотя бы просматривать свой основной теоретический труд, он ловил себя на мысли, что книга, главный плод его жизни, не завершена. Что, собственно, в ней отражено? Некоторые факты, проливающие свет на истоки движения? Общие рассуждения, азы партийной идеологии, которые должны быть поняты и восприняты каждым национал-социалистом?

Но по времени своего повествования «Библия фашизма», как уже успели окрестить ее, завершается всего лишь ноябрем 1926 года. То есть давным-давно устарела. Как документальное свидетельство эпохи становления она еще имела смысл, но если думать о настольной книге будущих поколений германцев...

«Мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешнеполитическим прошлым довоенных времен... Мы переходим, наконец, к политике будущего, основанной на расширении нашего пространства. Когда мы говорим сегодня о приобретении новых земель и нового пространства в Европе, то в первую очередь думаем о России и о подчиненных ей окраинных государствах». Вот что любили цитировать все те, кто разделял его идею «натиска на Восток», выживания в условиях нового жизненного пространства...

«Дранг нах Остен» состоялся. Русская кампания приближается к завершению. Какие-то восточные пространства еще, возможно, будут удержаны, какие-то на время утеряны. Но в общем-то исход ясен. И Борман, несомненно, прав: будущим поколениям понадобится философское осмысление почти двадцати последних лет пути Германии. Кто-то должен проанализировать ошибки движения, воспеть его воинский дух, поведать о планах создания СС-Франконии и установления нового порядка на восточных территориях. Конечно же лучше будет, если мир узнает обо всем этом из его, Гитлера, уст, нежели из лживых уст германоненавистников, врагов их движения.

– Работа над второй книгой позволила бы вам отрешиться от военной повседневности и явить миру труд, способный привлечь на нашу сторону миллионы новых сторонников.

– Меня уже пытались отстранить от командования армией, Борман. Правда, под иными предложениями. Но маневр этот генералам не удался, – Гитлер остановился напротив Бормана, и тот увидел, что подслеповатые глаза вождя слезятся. Было в них что-то старчески грустное и в то же время бездумное.

– Буду откровенен с вами, мой фюрер. Генералы могут подвергать сомнению ваши полководческие способности – это их право. Они ведь не только вам, они и друг другу не доверяют, при том что каждый считает себя Ганнибалом. Но никто, вы слышите, мой фюрер, –

⁸ Личным секретарем фюрера Борман был назначен в 1943 году. Имелось в виду, что он будет готовить и редактировать наиболее важные выступления фюрера на партийных съездах и собраниях актива, записывать его изречения. Однако на деле Гитлер крайне редко прибегал к его услугам.

потряс он обоими кулаками, явно подражая при этом Гитлеру, – никто не должен усомниться в вашей способности стоять во главе партии и рейха. Никто ни на минуту не должен усомниться в том, что он следует за мудрым, знающим дорогу вожаком. Вот чего я хочу, мой фюрер, советуя начать работу над «Новым заветом» национал-социализма, ибо старый уже зачитан до дыр двумя нынешними поколениями. Если вы согласны, завтра же посажу десяток историков и лично буду обобщать весь собранный ими документальный материал.

Гитлер подошел к расстеленной на столе карте военных действий и сквозь все ту же маску смертельной усталости всмотрелся в нее. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что он напоминает человека, который готов возненавидеть каждого, кто попытается вырвать его из привычного мира, привычного образа мыслей.

«Он продолжает жить своими фронтовыми иллюзиями, надеждами и... поражениями, – сделал для себя вывод Борман. – Он уже не вождь, он – погрязший в поражениях, надломленный ими, разуверившийся в своих способностях полководец, которого даже собственные генералы давно признали бездарным. И тебе нечего больше делать здесь. Клич Гейдриха: «Все за вожаком!» – развеялся в залах орудий, поэтому тебе, Борман, делать здесь больше нечего. У тебя больше нет вожака. Из западни, в которую он завел всех нас, придется выбираться в одиночку, полагаясь только на свое чутье».

– Кстати, мне стало известно, что в Москву послана диверсионная группа с заданием убить Сталина. Стоит ли нам вспоминать об этом при подготовке материала для новой книги?

– Что?! – встрепенулся Гитлер. Упершись руками о карту, он по-волчьи, всем туловищем повернулся к рейхслейтеру и замер в такой позе, словно приготовился к прыжку.

– Я имел в виду группу русских диверсантов, посланную...

– Мне ничего не было известно о подготовке подобной группы. И тебе, Борман, – тоже.

– В подобных делах всегда известно только то, что известно вам, мой фюрер.

– Но если бы я решил направить такую группу, то возглавил бы ее «первый диверсант рейха».

Борман все больше опасался восхождения диверсионной звезды Скорцени. Не зря англичане называют его «самым страшным человеком Европы». Борман нутром ощущал, как тот все ближе подступает к фюреру, какое гипнотическое воздействие на него оказывает. Особенно усилилось его влияние после подавления путча. Еще бы! Спаситель рейха. Хотя, если разобраться, майор Ремер со своим батальоном «Гроссдойчланд» сделал куда больше.

– И все же такая группа заброшена.

– Гибель Сталина конечно же многое могла бы изменить... Но жертвовать сейчас Отто Скорцени я не могу даже ради этого.

– Жертвовали же мы им ради спасения Муссолини.

– Ради спасения Муссолини – да. Но у меня нет двух Скорцени. Он мне еще понадобится. Тем более что гибель Сталина уже вряд ли остановит Жукова, Рокоссовского и прочих.

«Значит, о подготовке покушения на Сталина он знал, – утвердился в своем мнении Борман. – Но от меня скрыл. Что ж... Сталин будет польщен тем, что его убийством занимался лично фюрер. И приятно удивлен, узнав от меня, что диверсионная группа уже в Подмоскovie. Правда, возглавлять ее поручено не Скорцени, что позволит Сталину вздохнуть с явным облегчением».

– Вы правы, мой фюрер. Но вот вам результат: группа ушла без Скорцени. И исчезла. Скорее всего, погибла или сдалась. В любом случае операция провалена.

– Судя по тому, что прошло уже три контрольных срока... – угрюмо кивнул фюрер, вновь подтверждая догадку рейхслейтера. – Но запомни, Борман, слава уличного убийцы Сталина, Черчилля или еще кого бы то ни было мне не нужна. Я привык сражаться в открытом бою, как подобает германскому рыцарю. В этом сила нашего движения, Борман.

21

Пока старый агент, перешедший в немецкую агентуру из белогвардейского подполья, бывший поручик Лозовой и обер-лейтенант вермахта Кондаков решали, как бы поделикатнее избавиться от тела Меринова, сам Меринов неожиданно наткнулся на небольшую компанию из двух местных забулдыг. Узрев слегка подвыпившего капитана, аборигены решили, что есть повод покалякать о фронте и вообще о жизни.

Стакана вполне хватило, чтобы капитан окончательно взбодрился и начал рассказывать фронтовые байки. Фантазия его извергала целые гейзеры, благодарные уши тоже не увядали. Возможно, этот вечер так и остался бы в его жизни вечером фронтовых воспоминаний, если бы мимо хаты-развалюхи, во дворе которой приютились эти трое, не проходила одна из местных молодых.

– Стоп, кореша! – мгновенно отреагировал Меринов на это помутнение горизонта. – О превратностях жизни мы с вами потом покалякаем, пора заняться самими превратностями.

– Это не та, капитан! – успел крикнуть вслед ему один из забулдыг. – Эта еще «воюет»!

Однако остановить Меринова его предупреждение уже не могло. Сработала давняя привычка: как только чуток выпивал – неотвратимо тянуло «на баб». А как только дорывался до одной из них – сразу же нуждался в основательной выпивке. Тюрьма, фронт, а затем лагерь военно-пленных и разведшкола, казалось бы, должны были избавить его от этой губительной страсти, но, по всей видимости, не избавили. Выпив со случайными собутыльниками и завидев бедрастую молодуху, Меринов вдруг совершенно забыл, что он в форме и вообще кто он и как попал в этот подмосковный поселок.

– Эй, маруха! – окликнул он женщину. – Не подарить ли нам один смазливый вечерок богу любви? – начали всплывать из глубин его полузабытого блатного запаса фраерские «изыски», каковыми он славился еще в своей родной Феодосии.

Женщина оглянулась, и на лице ее мелькнуло некое подобие растерянной, сочувственной улыбки. Но так и не остановилась.

Меринов дал полный крейсерский ход и начал подчаливать к молодухе, пытаясь прижать ее к каменному забору. Он твердо верил в свои мужские достоинства и знал: главное – остановить девицу и заставить заговорить с ним. Остальное приложится, как ракушки к ржавому якорю.

Однако женщина в самом деле оказалась из тех, «все еще воюющих», фронтовичек... Вырвавшись из его объятий, она выкрикнула то самое страшное, что только способен был услышать фраер, некогда покорявший всю феодосийскую набережную:

– Да иди ж ты проспись, мерин сивый!..

Это «мерин» вырвалось у нее случайно. Возможно, она сотни раз охлаждала им своего мужа и всех приставал. Откуда ей было знать, что сейчас она употребила ту самую презрительную и ненавистную Дмитрию кличку, которой его, Меринова, бывало, отшивали в Феодосии знакомые портовые экстрашлюхи, из тех, что даже ему были не по зубам, поскольку в подлунный час их уводили в рестораны забурелые в загранке моряки и плешивые иностранцы.

– Но ты, профура хреновая! – вновь подался вслед за ней Меринов. – А ну-ка причаль на пару веских слов!

– Отцепись, я тебе сказала! – грозно окрысилась женщина, выходя на центральную улицу поселка, эдакий местный Бродвей, на который ему, диверсанту, и в трезвом виде выходить было опасно.

– Ты кем брезгуешь, вша венерическая?! – вошел в раж Меринов, вновь пытаясь захватить молодку в свои объятия.

Но женщина вырвалась, хлестнула его по лицу и побежала.

– Стерва вонючая! – озлобленно прорычал Меринов, не заметив, что сзади, из переулка, вынырнул милицейский патруль. – Я – офицер, черт возьми, и не позволю!..

Забывшись, Меринов произнес эти последние слова по-немецки. Он и знал-то немецких слов не так много, чтобы опасаться провала на этой почве. Но эту фразу он не раз произносил, встречаясь с гулящими немками, которых курсантам школы время от времени подсовывали для секспрофилактики. А теперь их услышал милицейский патруль.

В отделении милиции Меринов еще пыжился и требовал выпустить его, фронтового офицера. Но уже в гарнизонной комендатуре, когда начали внимательно знакомиться с его документами и подробно выяснять, где воевал, где находится часть и почему оказался в Подмосковье, – притих и слегка протрезвел. А затем появился офицер контрразведки, профессионально поинтересовался, откуда «товарищ капитан» знает немецкий и почему – как показали свидетельница и те двое забулдыг, с которыми он пировал, – свой родной русский у «товарища капитана» эковско-приблатненный. С одной стороны, вроде бы приблатненный, а с другой – вишь, по-фрицевски заговорил.

Однако устраивать допросы с пристрастием смершевец не стал. Наоборот, поставил перед залетным капитаном граненый стакан водки и сочувственно посоветовал: «Похмелись, фронтовик. Исповедоваться будешь на передовой. Я тебе и так верю».

Не успел Меринов поставить на стол пустой стакан, как смершевец вновь наполнил его:

– А теперь – за Родину, за Сталина.

– Не могу. Хватит, – попробовал спастись капитан.

– За вождя выпить не желаешь?! Да за него люди жизни отдают.

– Я тоже отдавал.

– Тогда по полной – и вперед.

Меринов прекрасно знал, что последует за этим стаканом. Он окончательно раскиснет и расколется. Его запугают и расколют так, что хватит не на одну – на две «вышки».

– Все, лейтенант, все... – смел со стола не только свой стакан, но и стакан смершевца... Мне нужно увидаться с твоим генералом.

– Может, сначала с маршалом?! – схватил его за грудки смершевец, обозленный тем, как Меринов повел себя при человеческом с ним обращении.

– Если можешь, то с Берией. Только быстро. Дело государственной важности. Речь идет о покушении на Сталина. На самого...

С минуту лейтенант смотрел на него налитыми кровью глазами, мучительно определяя, с чего начать говорить с этим типом «по-иному».

– Что ты тянешь, лейтенант? Говорю тебе: о покушении. Задание у меня: убить.

– Тебя что, болванкой по голове чардарыхнуло? – так и не решил смершевец, с чего начать.

– Это твой шанс, лейтенант. Третья звезда на погон и орден на грудь. Я с той стороны. С неба. Срочно выведи на свое начальство... Тебе лично я больше не скажу ни слова. Только генералу.

– Так ты это серьезно или спьяну? – и верил и не верил ему лейтенант. – Ты понимаешь, что ты несешь? – притишил голос контрразведчик, зная, что проколов в таких делах не прощают.

– Спьяну, конечно. Но только слишком серьезно, лейтенант. Операцией занимается фюрер Адольф Гитлер. Лично. Нас готовил Скорцени. Слышал о таком?

– Н-нет, – растерянно повертел головой лейтенант.

– Мог бы и слышать. Первый диверсант Германии. Но просвещаться будем потом. Звони. Я пришел оттуда. Но работаю на своих. Понял? Садись на телефон. Мне нужен генерал. Так и говори: «Группа, прибывшая с заданием... убить Сталина».

Все еще не сводя с пьяного глаз, лейтенант взялся за аппарат, но тотчас же отдернул руку, словно ухватился за раскаленный утюг.

Дрожащими руками извлек из кармана брюк серебряный портсигар, угостил капитана и, отойдя к окну, задумчиво курил, всматриваясь в раскрасневшееся лицо «подопечного».

«Наглеет? Придушивается? – решал он для себя. – Подставить таким образом хочет? Какой же я идиот, что накачал его! Вдруг из разведки, но только нашей?»

– Ну, смотри, капитан, если окажется, что это пьяная дурка, придется тебе группу самому придумывать.

До генерала ему, лейтенанту, добраться было трудно. Вначале он позвонил своему капитану. Тот покрыл его недоверчивым матом, но все же вышел на майора. Майор где-то на даче отыскал подполковника. Тот попытался лично сунуться к генералу, но генерал отчитал, послал и потребовал... чтобы с ним связался полковник.

...На явочную квартиру Меринов явился только к девяти утра. От него убийственно разило водкой и дешевыми духами. На погоне между звездочками запутались два длинных волоса яркой блондинки, которые сразу же были замечены Кондаковым.

– Что ты мечешься, гусь недобитый?! – свирепо уставился на него командир группы, кивком головы отправляя хозяина квартиры проверить окрестности.

– Да бабенку тут одну... Шимбурная баба. Последнюю такую в Феодосии лапал.

– За такое «лапанье» тебе пулю в лоб пустить надо, понял, жених моченый?!

– Заткнись, – икнул пьяно Меринов. – Баба что надо! Если не сложится – денек-другой у нее перекантоваться можно. Когда на встречу?

– Сейчас.

Меринов дошел до кровати, упал на нее и несколько минут лежал, раскинув руки и мертво уставившись в потолок. Поглядывая на него, майор нервно прохаживался по комнате.

– Ну что, что?! – оглянулся на появившегося в дверях хозяина.

– Пока все тихо.

– Уверен?

– Все осмотрел. Похоже, что действительно за бабой таскался... – брякнул отставной поручик, считая, что Меринов спит.

– А вы что, решили, что в энкавэдэ побежал? Переночевал там, а потом сюда явился? Вы, фраера вонючие, за кого меня держите?

– За ублюдка, – раздраженно объяснил Кондаков.

– Хотя... все может быть, – неожиданно засомневался хозяин логова.

– И я так думаю, – согласился Кондаков.

– А ты, пидор деникинской закваски, заткнись! – пошел капитан на Лозового, и даже не заметил, как в руке у того блеснул нож. А метал ножи бывший поручик с мастерством циркача.

22

Присев на топчан, староста и парикмахер очумело глядели на Беркута-Борисова. Прежде всего они были поражены тем, что он свободно владеет немецким. Теперь каждый из них задавался вопросом: кто же этот пленный на самом деле? Действительно ли обычный заключенный или все же опытный агент гестапо, посаженный сначала в общий лагерь, а затем и к ним в блок?

– Обер-лейтенант обещал подарить вам, Юзеф, целую неделю отсрочки, – объявил Беркут, все еще стоя у окна и осматривая сквозь густую решетку лагерьный дворик между их бараком и глухой каменной стеной, увенчанной колючей проволокой.

– Мне? – жалобно как-то переспросил парикмахер. – Целую неделю? Но зачем?

– Что значит: «зачем»? – удивленно переспросил лейтенант. – Вам надоело жить?

– Не жить, а ждать смерти. И не надоело, а страшно. Еще целую неделю ждать гибели.

– Но зато жить. Вы сами этого хотели.

– Жить в ожидании смерти – вы называете «жить»? Я и так жду ее уже два года. По трем лагерям прогнали. Представляете: два года ожидания смерти?! Изо дня в день, – тихо, бесстрастно говорил Юзеф, совершенно не радуясь этому известию. – Когда так долго ждешь ее, она начинает казаться даже желанной. Думаешь: Господи Праведный, поскорее бы это наступило!

– И смерть начинает восприниматься как жестокое милосердие, – неожиданно согласился Беркут.

– Именно так, именно так. Вы очень верно заметили: как жестокое милосердие. Ибо нельзя вечно жить в страхе перед смертью.

– И все-таки, услышав, что вы зачислены в «ангелы», я попросил обер-лейтенанта...

– Я понял. Это я понял. Спасибо, конечно. Вы добрый человек. Тот, истинный, библейский ангел. Они ведь и святое слово «ангел» испоганили. Озвероподобили. Вы – добрый... Но зачем?

– А ты пойдешь и откажись, гнида лагерная! – вскипел староста. – Чего ты ноешь?! Тебе неделю жизни подарили. Неделю! Подарили. Другой бы в ноги упал, а он... вша недобитая! Не знаю, правда, с чего это обер-лейтенант вдруг так расщедрился... С чего это он, а, Борисов?

Беркут не ответил. Староста подошел к нему, потоптался за спиной и вызывающе уставился в затылок.

– Что-то я так и не пойму, откуда ты взялся здесь, Борисов? – Молчание и вообще все поведение Беркута уже начало его раздражать. – Не тот ли ты Борисов, что был старшим команды могильщиков? Другого я здесь, в лагере, не знал.

– Не стоит нервничать, Журлов, – спокойно ответил Андрей, скрестив руки на груди и презрительно окидывая взглядом старосту. – Даже если и тот самый.

Журлов на какое-то мгновение замер, потом снова прошелся по блоку.

– Ага, значит, тот самый? – оскалился в неискренней улыбке, садясь на свои нары. – Я-то думаю, почему фамилия такая знакомая? Тот, значит?..

– Ты чего? – настороженно посмотрел на него Юзеф. – Не веришь, что ли? Не видел разве, его сам обер-лейтенант знает?

– А кто сказал, что не верю?! – взорвался староста, подхватившись. – Кто сказал?! Я только спросил фамилию... Потому как знакомая.

– Ты просто так не можешь. Просто так ты не спрашиваешь.

– Заткнись, гнида лагерная! И считай, что ты снова «ангел», понял?! Двадцать четвертый по счету. На завтрашний день. Ишь чего захотел: «неделю отпуска»! Завтра же пойдешь! Комендант тебя быстро на счетах прикинет. Слово скажу – и все!

«Он знал Борисова, – понял Беркут. – Напрасно я громко назвал при нем свою фамилию».

– Не беспокойтесь, обер-лейтенант сдержит слово, – вмешался Андрей, обращаясь к Юзефу. Заступничество поляка тронуло его. – Пока сдержит. А там – кто знает? Вдруг ситуация изменится, вы почувствуете себя лучше...

– Вы – первый человек в этом лагере, у которого хватает сердца и помогать и успокаивать меня, – молитвенно произнес Юзеф. – Спасибо. Все остальные... – осуждающе посмотрел на старосту.

– Что вытарасился?! – озверело пошел на него Журлов. – Такие, как ты, полужиды-полукровки, вообще не должны жить. Санитарная чистка общества. Слышал о такой?!

Он пытался ударить Юзефа, но Беркут успел перехватить его руку и, отведя ее в сторону, съездил старосту по челюсти.

– Можешь считать, что санитарная чистка уже началась, – вежливо объяснил он, когда, осев под стеной, Журлов немного пришел в себя.

23

Сталин внимательно прочел протоколы допросов Меринова, Кондакова и Лозового, отодвинул «Дело о покушении на тов. И. В. Сталина» и, закулив трубку, молча зашагал по кабинету.

То, о чем он только что прочел, поразило его. До сих пор ему было известно шесть или семь случаев «дел о покушении» на него и других членов Центрального Комитета. Но для него не было тайной, что дела эти оказывались наполовину или полностью сфабрированными, в лучшем случае подогнаны так, что в террористы попадали люди, которые, хотя в душе, возможно, и ненавидели вождя, однако никакой реальной возможностью вложить свою ненависть в пулю или мину не обладали.

Но группа Кондакова – нечто совершенно иное. Рассказанное Мериновым совершенно не похоже было ни на одно из тех показаний, которые следователи из «передового отряда партии»⁹ время от времени выбивали у «врагов народа». Сталин давно ждал, что рано или поздно служба безопасности Германии снарядит в Москву отряд убийц. Точно так же, как ГПУ и НКВД не раз снаряжало убийц за рубеж, чтобы убрать Петлюру, Троцкого...

Сталин нажал кнопку и, лишь только появился дежурный секретарь, приказал:

– Берию.

Командир «передового отряда ума, чести и совести эпохи» явился буквально через пять минут. Оставив утром это расстрельное «дело» Сталину, он целый день напряженно ждал своего вызова. И дождался.

– Слушай, Лаврентий, зачем ты принес мне это дело? – неожиданно спросил вождь по-грузински.

Берия ожидал любого вопроса, но только не этого. Ответ вроде бы не составлял особого труда, но именно поэтому Лаврентий встревоженно задумался. По своему опыту общения с Кобой он знал, что самыми подлыми бывают именно такие, незамысловатые вопросы Сталина, ответы на которые давно лежат на губах, словно на гробовых досках. И еще Берию насторожило, что Сталин спросил это по-грузински. А он уже не помнил, когда в последний раз слышал, чтобы Коба говорил с кем-либо из членов ЦК или правительства на языке своих предков.

– Считаю, что вы захотите знать об этом, Иосиф Виссарионович, – попытался выдержать официальный тон. – Если уж враги решили поднять руку на самого...

Берия наткнулся на острие холодного взгляда Кобы и запнулся на полуслове: это на страницах «Правды» вождя разрешалось причислять к лику святых и непогрешимых, в разговорах наедине Сталин этого не терпел.

– Но все это установленные факты. Есть показания. Нами изъяты портативные радиопередатчики. Мы хоть сейчас можем устроить показательный судебный процесс... Пусть народ знает, какая опасность грозила вождю.

– А еще пусть народ узнает, что энкавэдэ умеет сажать не только свою собственную интеллигенцию, но и вражеских агентов.

Осунувшееся, иссеченное оспинами лицо Сталина передернуло почти неуловимая саркастическая улыбка. Он остановился напротив стоявшего в конце длинного стола шефа НКВД и, вынув трубку изо рта, начал старательно притаптывать пожелтевшим большим пальцем едва дымящийся табак.

⁹ Официально НКВД, как потом и КГБ, во всех партийных документах именовалось не иначе как «передовым отрядом партии».

– Это будет такой процесс, на который мы вполне можем пригласить американских и английских журналистов, – продолжал развивать свою идею Берия, встревоженно наблюдая за Кровавым Кобой.

– Зачем? – холодно прищурился Сталин. Чем больше он злился, тем отчетливее становился его грузинский акцент. – Чтобы эти журналисты, вся страна, весь мир знали, что наши солдаты не только сотнями тысяч сдаются в плен, но и потом пробираются на родину с заданием убить генерального секретаря партии?

Злость в глазах Сталина развеялась, вновь уступив место холодной, яростной презрительности.

«Что значит “зачем”»? – мысленно возразил Берия. Но разве это был первый случай, когда он позволял себе вот так же, решительно, возражать Сталину... мысленно? Знал бы об этом вождь. Но вождь, очевидно, знал не только об этом. Или догадывался.

Вернувшись к своему столу, он сел в кресло и, так и не предложив сесть Берии, с минуту молча листал страницы уже довольно пухлого дела.

– Скажи мне, Берия, сколько «покушений на товарища Сталина» ты уже организовал? Честно скажи. Цифру будем знать только ты и я.

Берия приблизился к столу, и пальцы его впились в спинку одного из стульев. Сталин задержал свой взгляд на руках, словно опасался, что первый энкавэдист большевистской империи вот-вот бросится с этим стулом на него.

– Сколько «раскрыл», товарищ Сталин? – неуверенно попытался подправить Берия, и от злорадного взгляда Сталина не укрылось, как побледнели его щеки и посинела вечно отвисающая нижняя губа...

– Раскрыл ты только первое. Да и то не ты, а милиция и тот лейтенант-чекист, которому попался этот негодяй, – постучал мундштуком трубки по страничке протокола допроса... – Верно говорю?

– Верно, – едва вымолвил задеревеневшими губами Берия.

Сталин взглянул на него с откровенным разочарованием, словно бы упрекал: «Вот видишь, Лаврентий, даже ты не пытаешься возражать. Вслух».

– Слушай, Лаврентий, а как называлась операция, которую разработала диверсионная служба СД по убийству товарища Сталина? В нескольких местах я находил слово «операция», но каждый раз за ним следовал пропуск. Что, агенты не согласились раскрыть ее название?

«Нэ нада была давать ему эта дэла», – вновь, будто ржавые шестеренки в старом часовом механизме, со страхом прокрутил Берия уже не однажды возникавшую мысль. И лицо его при этом посерело. Так, точно это его сейчас под пытками заставят назвать эту сверхсекретную операцию.

– Мне не хотелось, чтобы это название попало кому-нибудь на глаза, было услышано кем-то из журналистов и вообще звучало где-либо. Даже на закрытом заседании суда, – тяжело ворочал словами «верный ленинец».

– «Закрытом заседании»? – нацелил на него мундштук, словно ствол пистолета, вождь всех времен и народов.

– А как же еще? Конечно, закрытом. Но если у товарищей по ЦК возникнет иное мнение...

Их взгляды скрестились, словно два ножа на потайной бандитской сходке. Сталин ждал. Но он по крайней мере знал, чего ждет. А вот Берию тянуть с ответом заставлял только страх.

– Что ты малчишь?! – прохрипел Коба. – У мэня нэт врэмэни выслушивать сопение мини-стра внутренних дэл и бэзопасности.

– В Берлине эту операцию... – Берия судорожно заглотнул побольше воздуха, словно погружался на дно, и натужно прокашлялся. – В Берлине она получила название «Кровавый Коба».

Наступила длительная, тягостная пауза, достойная того, чтобы разрядить ее мог лишь пистолетный выстрел.

– Как ты назвал ее?

– «Кровавый Коба», – уже более уверенно и, как показалось Сталину, с явным вызовом подтвердил Берия. – Но назвал... не я, а-а...

Сталин осатанело повертел головой, словно пытался утолить неутолимую зубную боль. Открыв небольшую коробочку с табаком, наполнил им трубку, прикурил и мрачно взглянул на все еще стоявшего Берия.

– Что ты стоишь передо мной, словно солдат перед генералом? – столь же мрачно, но совершенно миролюбиво спросил его Сталин, уже почти без акцента. Подождал, пока Берия присядет на краешек стула, а сам поднялся, движением руки заставив Лаврентия сидеть. – Значит, они называли операцию «Кровавый Коба»? Используя мою... ну, скажем так, кличку. Почему ты побоялся записать ее в дело?

Берия поежился и виновато отвел глаза.

– Само название операции говорит о том, что организаторы террористического акта придавали ей политическое значение: что она должна иметь международный резонанс даже в случае ее провала. Правильно мы с тобой понимаем, Лаврентий?

– Показания диверсантов – тому подтверждение.

– Так должны ли мы давать Гитлеру и Гиммлеру возможность использовать этот резонанс? Нэ должны.

Берия ждал, что Сталин добавит еще что-то такое, что бы способно было прояснить его замысел. Однако вождь решил, что уже все сказано.

– Подумай над этим, Лаврентий.

«Над чем думать, черт возьми?! – хотелось выкрикнуть Берии, но он вовремя осадил себя: – А ты все же подумай».

– Почему бы нам не организовать такой же террористический акт против Гитлера?

– Террористический визит вежливости? – остановился Сталин у окна.

– Почему они могут, а мы нет?

– Потому что тогда мы, опять же, позволим немцам использовать пропагандистский заряд, направленный против нас самих. Понял?

– Как скажешь, Иосиф Виссарионович, – и не собирался упорствовать Берия.

– Возьми это дело. И не носись с ним по кабинетам. Пусть даже самым секретным. Через три дня жду тебя с докладом... Лаврентий.

* * *

Выйдя из кабинета, шеф НКВД ошарашенно оглянулся на дверь. Он так и не понял, о чем ему предстоит докладывать. О том, что Кондаков расстрелян без суда и следствия, убит при попытке к бегству? Так о чем тут докладывать и в чем проблема? Приказал – пальнули. За ним, Берией, не заржавеет. Что «дэла» не передано в суд? Так ведь кто решится передать его без разрешения Хозяина?

Уже когда Кремль остался далеко позади, Берия приказал свернуть к Москве-реке. Водитель знал то местечко в небольшом парке на изгибе реки, которое давным-давно облюбовал Лаврентий Павлович, и, немного попетляв по старинным улочкам, вырвался на пустынную аллею, словно на взлетную полосу.

Подойдя к чугунному парапету, Берия облокотился на него и всмотрелся в чернильно-свинцовую рябь.

Река завораживала его, течение мыслей постепенно сливалось с течением воды, и очень скоро он оказывался вырванным из потока реальной жизни, постепенно перемещаясь в задумчиво-бездумное небытие.

«А ведь ОН решил, что и это покушение сфабриковали мои расстрельщики, – всплыла в памяти недавняя обида. – ОН, очевидно, считает, что я уже способен заменить абвер, диверсионную службу СД и все прочие службы рейха. А если Коба догадывался, что кое-какие дела действительно были состряпаны, то какого дьявола делал вид, будто ничего не происходит?.. Да потому что знал: лучшего способа истребления внутренних врагов режима до сих пор никто не придумал. Извините, не удосужились. И не вздумай немедленно уничтожать этого диверсанта, Кондакова! Не спеши расстреливать его! – словно заклинание повторил Берия, так толком и не решив для себя, почему, собственно, он должен сохранять ему жизнь. – Не торопись. Так или иначе, а за тобой не заржавеет...»

Берия вдруг подумал, что если Кондакова отправить на тот свет прямо сейчас, то, во-первых, это может сразу же вызвать подозрение. Во-вторых, даст возможность Сталину вновь и вновь обвинять его в том, что операцию «Кровавый Коба» сам он и спровоцировал. А так – есть все еще не убиенный агент, которого можно допросить хоть в присутствии всего Центрального Комитета. И запросто проследить его путь к Москве.

«А ведь пока Кондаков будет жиреть на тюремной похлебке, Коба будет чувствовать себя неуверенно, – осенил себя сатанинской улыбкой Берия. – В любое время подробности операции, ее название могут выйти из-под покрова секретности. А то, что русский офицер, по заданию абвера, пытался убить самого вождя, «Кровавого Кобу»... Кому нужны такие прецеденты? А там ведь может всплыть и история с жандармом, давним знакомым Кобы еще по его вологодской ссылке. Но об этом еще не время...»

По реке медленно проходил небольшой пароходик, буквально забитый солдатами. Берия поразилось, что с палубы его не долетало ни одного человеческого голоса – словно это был корабль, заполненный тенями давно погибших солдат-москвичей, решивших осмотреть свой город уже глазами астральных существ.

«В крайнем случае можно будет объяснить, что Кондаков нужен был для того, чтобы нащупать путь туда, в абвер или диверсионный центр СД, где этих живодеров готовили для отправки в Россию, – вернулся Берия к своим лагерно-земным теням. – А для убедительности подселить к нему провокатора. Под видом бывшего пленного, предателя, врага народа... Пусть лагерь-майор отведет душу».

Вернувшись к себе в кабинет, Берия тотчас же вызвал порученца и приказал перевести заключенного «К-13» в один из мордовских лагерей, в особый барак. Изолировать его там в блоке для иностранцев и посадить «кукушку».

– Только предупреди начальника лагеря, что это он, начальник, нужен мне мертвым, а «К-13» еще понадобится живым.

24

Узнав, что после обеда Журлов неожиданно исчез из блока, Беркут ничуть не удивился. Этого следовало ожидать. «Одним меньше – только и всего, оправдал он свои действия. – Лишь бы что-то там не сорвалось, и этот предатель вновь не оказался здесь».

Однако к ночи староста так и не вернулся. Не появился и на следующий день, когда лейтенант уже прошел отборочную комиссию и заглянул в санитарный блок, чтобы забрать свои вещи, которых у него в сущности не было. Всего лишь повод, благодаря которому он получал возможность проститься с Юзефом.

– А где это наш друг, староста барака? – как бы между прочим поинтересовался он у санитара, уже собравшись уходить из блока.

– О, староста получил новое назначение, – ядовито заверил санитар.

– Теперь он – помощник коменданта?

– Вчера Журлов действительно попросил сводить его к коменданту лагеря. Тайком от вас.

– Почему тайком?

– Этого я не знаю, – отвел взгляд санитар. – Правда, по дороге он лепетал что-то странное... – Немец умолк, выжидая реакции Беркута.

– Не изображайте из себя швейцара у двери берлинского отеля. – Незло предупредил его Беркут. – Все равно подавать на чаевые нечего. Что такого странного он вам наплел?

– Что вроде бы вы не тот, за кого себя выдаете.

«Сволочь!» – внутренне вскипел Беркут, но вида не подал. Он понимал: теперь главное не растеряться.

– Вас это очень удивило? Я спрашиваю: вас это удивило?

– Что вы?! – испуганно развел руками санитар. – Я сразу сказал ему, что он идиот. Прежде чем переться к коменданту, следует высказать свои подозрения начальнику ликвидационной команды. Ведь это он покровительствует Борисову. А то потом обер-лейтенант Гольц не простит ему доноса. И еще посоветовал помалкивать и не лезть не в свое дело.

– Мудрый совет.

– Он тоже так решил. И пошел к Гольцу.

– А вот это уже зря.

– Что поделаешь, этот капо очень уж захотел выслужиться, – неуверенно улыбнулся санитар.

– А в лагере всегда предоставляется такая возможность, – поддержал его Беркут.

– Вот именно. Когда он заявил обер-лейтенанту Гольцу, что лично знал старшего команды могильщиков Борисова и что вы – не тот, за кого себя выдаете, обер-лейтенант искренне поблагодарил его за бдительность. Сказал, что он освобождает Борисова от должности старшего команды могильщиков, которая находится в его, обер-лейтенанта, подчинении, и назначает старшим его – бывшего старосту пятого барака Журлова. А с вами немедленно разберется.

– Значит, теперь Журлов стал старшим команды могильщиков? – уточнил Громов.

Санитар достал из карманчика швейцарские часы-луковицу, открыл узорчатую крышечку и взглянул на циферблат.

– Жаль только, что в этой должности ему осталось пребывать не более часа. До того момента, когда настанет пора вывозить на «санитарную обработку» очередную партию «ангелов».

– И что тогда? – не понял Беркут.

– Все очень просто, – зачем-то шелкнул каблуками санитар. – Обер-лейтенант Гольц пошутил. Дело в том, что сегодня очередь самой могильной команды. У могильщиков нервная

работа. Устают. Их надо менять, так что погребать их будут уже другие. Правда, Журлов об этом пока не знает. Сюрприз!

– Вот уж действительно... – сурово согласился Андрей. Он должен был обрадоваться такому исходу, да что-то ему сегодня не радовалось. – Ну что ж, староста Журлов сам вытянул свой жребий. Вы-то, надеюсь, не сомневаетесь в том, что я действительно заключенный Борисов? – с трудом улыбнулся он санитару, с болью вспоминая пленных, которые ехали с ним в машине после расстрела. Он потому и не радовался гибели предателя, что сегодня – их смертный черед!

– Что вы, господин офицер! Я сразу понял, с кем имею дело, – подморгнул он, искоса поглядывая на Юзефа. – А если бы и не понял, все равно помалкивал бы. Меня это не касается. Жизнь уже проучила меня. Хорошенько проучила.

– Вы – истинный ариец, господин санитар, – тихо сказал Андрей, взяв его за локоть. – В свое время я обязательно вспомню о вас.

– Хайль Гитлер, – так же тихо ответил немец. – Я тут приготовил все необходимое, чтобы вы могли побриться, помыться, освежиться хорошим немецким одеколоном, который напоят вам родные места. Это не приказ обер-лейтенанта, а моя собственная инициатива.

– Такая услуга не подлежит забвению. Кстати, где сейчас Гольц?

– Вынужден вас огорчить: стало известно, что через несколько дней Гольца отправляют на фронт. Я слышал об этом от писаря. С сегодняшнего дня он уже никого не пожалеет. Узнав о Восточном фронте, обер-лейтенант буквально озверел.

– Желаю, чтобы вас эта участь не постигла. Что слышно об эшелоне в Германию? С пленными, для работы в рейхе? Он не отменен?

– Нет. Это я знаю точно. Лучше бы было, если бы вы остались в лагере и сняли с себя это арестантское отребье. Мы бы подружились с вами, господин...

– Унтерштурмфюрер, – как бы невзначай проговорившись, обронил Беркут. И санитар мгновенно вытянулся, щелкнув каблуками. – Увы, у каждого своя служба.

Приведя себя в порядок, лейтенант переоделся в принесенную откуда-то санитаром более-менее сносно выглядевшую лагерную робу, которая к тому же оказалась выстиранной, и собрался уходить.

– Господин Борисов, господин Борисов, – негромко и вкрадчиво окликнул его Юзеф, до этого уже попрощавшийся с ним.

– Отпуск в две недели пока что остается в силе.

– Спасибо вам еще раз, – сказал поляк, пожимая его руку, и Беркут ощутил вдруг прикосновение стали. – Я вас не забуду, – тряс его руку обреченный, просовывая ему между пальцев лезвие ножа. – Для себя берег, – прошептал он. – Вены вскрыть.

Так, зажав небольшое, но острое лезвие, Громов и ушел из блока в барак, где собирали команду для отправки. Между пальцами он сумел пронести это свое единственное и неоценимое оружие через тщательный обыск конвоиров. Сохранил его и тогда, когда, погружая их в вагоны, охранники неожиданно приказали всем раздеться донага¹⁰, чтобы даже этим исключить всякую возможность побега, а взамен выдали по куску брезента, завернувшись в который можно было зарыться в сено и, даст бог, не околеть от осеннего холода.

¹⁰ Тот факт, что некоторые группы пленных гитлеровцы перевозили, совершенно обнажая их, был подтвержден свидетельскими показаниями во время Нюрнбергского процесса.

25

На серпантине горной дороги лазурь морского залива открывалась совершенно неожиданно, убажывая путников успокоительным небесным озарением. Поросшие карликовыми соснами скалы представляли на фоне моря во всей своей разноцветной контрастности, как на полотне мариниста. И белокаменная двухэтажная вилла, возникавшая на бедре расчлененного горным ручьем ущелья, – тоже казалась порождением все той же вдохновенной кисти. Как и россыпь небольших хозяйских построек, вымощенных красной черепицей, выделяющейся на фоне тусклой зелени миниатюрного сада.

– Притормозите, господин Тото.

– Могли бы и не предупреждать, княгиня. Я слышу это каждый раз, как только мы оказываемся на этом повороте.

Поначалу Тото действительно притормозил, но, вспомнив, какие чувства обуревают сейчас его повелительницу, свернул с узкой полоски шоссе и, рискуя сорваться с двадцатиметровой крутизны, пристроил «пежо» на крохотном пятачке, завершающемся прелестной мелкокаменистой осыпью. Капитан – он же «бедный, вечно молящийся монах Тото» – знал, что, очарованная пейзажем княгиня Сардони постарается не замечать опасности точно так же, как сам он почти не замечал тех прелестей, что открывались романтическому взору Марии-Виктории. Красоты лигурийского побережья Италии оставляли этого человека столь же равнодушным, как и все те страсти, что кипели сейчас в Италии вокруг личности дуче, созданной им на севере Итальянской республики, короля, маршала Бадольо и их отношений с англо-американцами – не то оккупировавшими всю южную и центральную часть страны, не то вошедшими туда в качестве союзников.

Выйдя из машины, княгиня храбро ступила на едва заметный каменистый барьер, чтобы там, на бруствере из гравия, пощекотать нервы не столько Тото, сколько своей удачей.

– Неужели Господу посчастливится уберечь от нас этот лигурийский рай? – спросила женщина капитан-монаха, остановившегося в полушаге, рассчитывая, что в последнее мгновение сумеет спасительно дотянуться до нее рукой.

– Будем надеяться, что лондонские апостолы сделали все возможное, чтобы подсказать ему это. Во всяком случае до сих пор, как вы заметили, авиация союзников обходит «Орнезию» стороной. Но что будет происходить, когда сюда докатится линия фронта, сказать трудно.

– Так будем же молиться, брат мой во Христе.

– Если кто-то еще способен на молитвы.

Отдых в «лигурийском раю» явно пошел княгине на пользу. Худощавые прежде щеки ее заметно оттаяли и даже предостерегающе налились; светло-шоколадный загар беззаботно упрятывал под своей свежестью какие бы то ни было порывы грусти и страха, а выгоревшие на солнце волосы казались еще более золотистыми, чем это было позволительно демонстрировать на побережье, посреди войны, где лукаво мудрствовали тысячи вооруженных и озлобленных мужчин.

Во всяком случае «бедный, вечно молящийся» монах из ордена Христианских братьев Тото, который даже в этот жаркий день предпочитал оставаться в монашеской сутане, в последнее время все больше опасался появляться с княгиней где бы то ни было вне виллы «Орнезия». Эту войну капитану английской разведки следовало во что бы то ни стало пережить. Сохранив при этом «лигурийский рай», княгиню, ее и свою репутации. Главные действия должны были разворачиваться в этих краях уже после войны.

Словно оправдывая его вечные страхи, из-за похожего на вздыбленного коня выступа горы появился открытый грузовик, битком набитый итальянскими солдатами. Они пили из горлышек, орали песню; бесстыдствуя, развеивали тоску по миру и женщинам в словах брани

и изумления. Тот инстинктивно подался поближе к Марии-Виктории, стремясь хоть как-то прикрыть ее от глаз и бутылок, которые могли полететь в их сторону.

– Поедте-ка с нами, синьора!

– Брось ты этого святошу! – добавили из второй машины. Как оказалось, двигалась их тут целая колонна.

– Эй, монах, бойся Бога, не грехи прямо у дороги! Для этого существуют кусты!

– А еще нежнее – в море!

Все это время Мария-Виктория мужественно выстояла, повернувшись лицом к солдатам – так безопаснее – и безмятежно улыбаясь. Руки ее оставались при этом вложенными в глубокие карманы голубоватого плаща-накидки, из плотной, похожей на парашютный шелк ткани. Капитан-монаху сие одеяние нравилось уже хотя бы потому, что, во-первых, оно позволяло хоть как-то скрывать очертания ее соблазнительной фигуры, во-вторых, носить в каждом из карманов по английскому дамскому пистолетику. Еще один пистолет – «вальтер» – ожидал своего часа в перекинутой за спину дамской сумочке. Причем на случай обыска у нее имелся документ, уведомляющий, что княгиня Стефания Ломбези является лейтенантом службы безопасности, обладающим, естественно, правом ношения любого оружия. Впрочем, точно таким же документом мог, при случае, блеснуть и сам «бедный, вечно молящийся».

– В этот раз я едва сдержалась, чтобы не разрядить оба пистолета сразу, – все с той же беспечной улыбкой на лице призналась княгиня, провожая взглядом пятую, санитарную машину, уходящую в сторону Генуи. – Каждый раз, когда я вижу этих отправляющихся на убой самцов и слышу их скотство, у меня едва хватает мужества, чтобы не расплачиваться свинцом за каждый «комплимент».

– В сущности... солдаты как солдаты.

– И я слышу это от вас, воспитанника Оксфорда?!

– В Оксфорде я как раз надолго не задержался. Война завершается, и взгляды на врагов и союзников – временных врагов и не менее временных союзников – претерпевают изменения. Что же касается вас, княгиня...

– Тоже претерпевают? Наконец-то.

– Что же касается вас, то я всегда сомневался: стоит ли доверять вам оружие? Слава богу, что пока еще вам удастся прикрывать свое презрение к обмундированным согражданам той же накидкой, которой прикрываете красоту тела.

– Было время, когда я тоже сомневалась: стоит ли доверять вам больше, нежели своему оружию?

– Чем завершились ваши муки?

– Решила, что куда надежнее доверять оружию.

Тот коротко, призывно хохотнул.

– Прислушаюсь-ка я, пожалуй, к совету того итальяшки, который кричал: «Эй, монах, не грехи прямо у дороги! Для этого существуют кусты и море».

Княгиня восприняла его пассаж как одну из самых грубоватых шуток, которые ей пришлось услышать от англичанина. Из тех немногих, которые он вообще позволял себе в ее присутствии. Мария-Виктория уже знала, что Тот с особым трепетом воспринимает любого аристократа – сам-то он был из что ни на есть «средних», чуть ли не «уличных». И если что-то до сих пор сдерживало его, так это княжеский титул хозяйки «Орнезии». Иногда Сардони диву давалась, что до сих пор между ними не произошло ничего такого, что завершилось бы постелью. Почти платоническая безмятежность. И это здесь, на лигурийском побережье Италии!

26

– Товарищ Берия, Иосиф Виссарионович ждет вас. Он приглашает поужинать вместе с ним.

Берия медленно поднял голову, с ненавистью посмотрел на рослого, плечистого генерала-адъютанта, как на каменное изваяние, и брезгливым жестом руки отодвинул его от двери, словно смел с дороги.

Назавтра Берия должен был явиться к Сталину с докладом о закрытии дела о покушении. Однако неожиданный звонок заставил его срочно прибыть сюда, на подмосковную дачу Сталина. А такие вызовы всегда настораживали шефа НКВД. Он хорошо помнил, что произошло с его предшественниками – Ягодой и Ежовым.

– Что, Лаврентий, что ты так несмело? Входи, дорогой... Садись. Мои друзья в Грузии не забывают своего старого товарища. Вот только вчера прислали несколько бутылок хорошего вина.

Сталин сидел за низеньким, инкрустированным кавказским орнаментом столиком, на котором стояли две бутылки вина, два блюда с бужениной и большая ваза, наполненная гроздьями белого винограда. Он наполнил бокал Берии и, провозгласив: «За нашу победу!», принял долго, как заправский знаток, смаковать розовый напиток.

– Ах, хорошее вино! Из какой части Грузии?

– Из Кахетии.

– Замечательное вино.

– Отныне оно будет называться «Кровавый Коба». Как тебе название, Лаврентий?

Берия попробовал улыбнуться, однако стекла очков сделали взгляд его водянистых глаз замороженным, а улыбку – растерянно-циничной.

– Каждое вино имеет свое название и свою историю, – попытался уйти от прямого ответа. Он давно понял: что-то изменилось в отношении Сталина к нему. Сам все время допытывается, что да как, провоцируя его, Берию, на все новые и новые разоблачения «врагов народа». И в то же время с каждым крупным разоблачением становится все более подозрительным, отчужденным.

– Так ты все еще собираешься устраивать открытый судебный процесс по делу о покушении на товарища Сталина, а, Лаврентий? – Когда генсек наполнял бокалы, горлышко бутылки предательски постукивало о чешское стекло.

– Процесс уже состоялся.

В этот раз Кровавый Коба залпом осушил свой бокал и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла.

– Уже, говоришь?

– Там ведь все ясно.

– Правильно сделал, – Сталин пальцами взял с тарелки кусочек мяса, повертел его перед глазами, словно рассматривал на неярком утреннем солнце, и потом долго, по-старчески пережевывал. – Товарищ Вышинский и так очень занят. Зачем загружать его совершенно незначительными делами? Да, тот лейтенант... Надо бы его...

– Тоже расстрелян.

– ...Повысить в звании и наградить за бдительность, – словно бы не расслышал его слов хозяин дачи.

– Мы своих людей не обижаем, товарищ Сталин. Его повысили до старшего лейтенанта, представили к ордену и только после этого расстреляли.

Это было неправдой. Лейтенант еще только ждал решения своей судьбы в одной из камер Лефортовской тюрьмы, но уже повышенный в звании и представленный к награде – о чем он еще не знает. Однако за «расходом» дело теперь не станет.

– Я не желаю лишних жертв, Лаврентий. Людей нужно беречь... – поучительно разжевывал жестковатое мясо Сталин. Он сам просил подавать ему такое к вину. Он любил – чтобы жестковатое, поджаренное и слегка прокуренное дымком. Это блюдо напоминало старому революционеру еду его сибирской ссылки.

– Так это ж первая моя заповедь, – проворчал Берия, почти обиженный тем, что вождь мог заподозрить его в «излишней расточительности».

– Война кончится, и люди начнут сравнивать, – неожиданно ударился в философию Кровавый Коба. – Они будут говорить, что в этой войне противостояли друг другу два учения – коммунистическое и фашистское: две партии, два лагеря...

– Лагерь было куда больше, – саркастически заметил Берия, но мгновенно согнал с лица скабресную улыбку. Он произнес это не по храбрости своей, а по глупой неосторожности. Что называется, сорвалось.

– Они будут сравнивать и говорить: вот как зверствовало гестапо, а вот как боролось с врагами народа наше энкавэдэ. Вот их Мюллер, а вот наш Берия... – Вежливо, но расчетливо мстил ему вождь. – Ты хочешь, чтобы они видели разницу между Мюллером и Берией, Лаврентий?

– И они увидят ее, товарищ Сталин, – угрожающе пообещал Берия. – За нами не заржавеет.

– Но это не значит, – задумчиво набивал трубку вождь, – что мы должны выпускать ход нашей истории из-под контроля. Уже сейчас мы должны думать над тем, что из наших деяний достойно истории, а что недостойно, поскольку это наши повседневные государственные дела. Зачем будущим поколениям знать, в каком халате и каких тапочках ходил товарищ Берия по своей даче? Я правильно говорю, Лаврентий?

– И даже знать о том, что у Берии была дача, народу тоже не обязательно.

– ...Вот почему ты правильно делаешь, – вновь слушал только самого себя Сталин, – когда не допускаешь, чтобы слух о покушении на товарища Сталина обрастал разговорами, сплетнями и домыслами наших врагов. Кто еще знал о том, что двое бывших наших солдат были заброшены сюда для этой гнусной операции?

– Офицеры, которым докладывал лейтенант – капитан, майор, полковник, генерал...

– Даже генерал? – сокрушенно покачал головой Сталин, тяжело вздохнув.

– Все они будут молчать.

– Будут?

– У нас молчат.

– Там еще оказались замешанными какие-то милиционеры...

– Будем считать, что их уже нет, – общипывал гроздь винограда Берия. – И тех, кто их расстреляет, тоже не будет. Зачем истории знать то, что знать ей не положено? – почти скопировал Берия акцент своего хозяина.

– Но кто-то уже успел узнать о «Кровавом Кобе» в Верховном суде, прокуратуре, ЦК?

Берия задумчиво уставился в потолок и, не опуская подбородка, высокомерно повертел головой:

– Ни один человек.

– Значит, никто? – не поверил ему Сталин.

– Вроде бы... – уже менее уверенно подтвердил Берия.

– Совсем никто, Лаврентий? – наклонился к нему вождь через стол.

Берия наконец-то опустил голову и, глядя на вождя, поиграл желваками.

– Кроме меня...

– Вот видишь, Лаврентий, – еще более мрачно и отрешенно вздохнул Сталин. – Вот видишь...

– Но я-то буду молчать, – почти шепотом, срывающимся голосом проговорил «первый энкавэдист большевистской империи».

– Ни на кого нельзя положиться, товарищ Берия. Ты знаешь это не хуже меня.

Берия нервно сорвал с переносицы очки, словно они мешали разглядеть Сталина. Обычно полусонные, ледянистые глаза его вдруг налились кровью и полезли из орбит.

– Так что же мне теперь, застрелиться, что ли?! – не выдержали нервы у Берии. – Прямо здесь, у тебя на глазах?

Сталин задумчиво помолчал, внимательно осмотрел трубку, словно заподозрил, что ему подсунули не ту, или не тот табак...

– Почему прямо здесь? И потом... всему свое время, Лаврентий. Всему свое время.

27

...В разгромленном немцами партизанском лагере сержант Николай Крамарчук все же побывал. Вместо землянок он обнаружил руины, вся территория изрыта воронками от мин, лес вокруг выжжен. Однако ни останков своих друзей, ни могил...

«Опасаются, что люди, пришедшие на смену беркутовцам, станут поклоняться их могилам, – понял сержант. – Поэтому тела партизан увезли вместе с телами своих солдат».

За два часа до того, как отправить Крамарчука на разведку к Подольской крепости, Беркут вывел его из лагеря и там, под одним из динозавроподобных валунов, показал свой тайник.

– Если погибну, найдешь в этом тайнике небольшой пакет с кое-какими захваченными у немцев документами и письмом для Марии. Сделай все возможное, чтобы пакет попал к ней. Документы она сохранит, чтобы при первой возможности передать нашим.

– Как свидетельство того, что мы здесь тоже кое-чего стоили, – согласно кивнул сержант.

– Сейчас она пока что прячется в Гайдуковке. Но даже если ее там не окажется, разыщи. Хоть после войны – все равно разыщи.

– Почему ты так? – удивился тогда Николай. – Ты что это вдруг надумал, комендант?

– «Комендант», – благодарно похлопал его по плечу Беркут. – Только ты и можешь еще назвать меня так.

– И Мария Кристич, – напомнил Николай. – Бывший санинструктор дота. Трое из тридцати одного... Говорят, на войне это еще по-божески.

Вздыхнули. Помолчали...

– Считай это моей последней просьбой, сержант. Кроме тебя об этом тайнике не будет знать никто.

Осмотрев лагерь, Крамарчук сразу же направился к тайнику. В конверте-пакете с грифом какого-то немецкого учреждения оказалось несколько офицерских удостоверений вермахта, две немецкие карты и письмо, адресованное Марии Кристич. Вскрывать конверт с письмом Николай не стал, хотя очень хотелось прочесть его. Зато нашел в тайнике кое-что и для себя. Будто предвидя, в каком трудном положении окажется Крамарчук, лейтенант оставил для него немецкую португезу с двумя парабеллумами в кобурах, шесть обойм патронов, три гранаты и золоченый трофейный портсигар.

«Закури, сержант, вспомни гарнизон 120-го дота... – было написано в записке, лежавшей на сигаретах, – и продолжай борьбу. Не забудь о просьбе. Оставайся мужественным. Прощай. Беркут».

«Нет, он жив, – сказал себе Крамарчук, пряча эту записку в карман. – Ничто не заставит меня поверить, что Беркут погиб. Такие люди не гибнут. Но просьбу я все же выполняю».

В тот же день он познакомился с двумя семнадцатилетними парнями из Калиновки, которые работали на лесозаготовке. Один из них признался Николаю, что запомнил его еще с той поры, когда он приходил к ним в село за продуктами. Крамарчука это обрадовало. Он подумал, что именно эти ребята могли бы стать основой нового партизанского отряда или даже возрожденной «группы Беркута». Пусть без самого лейтенанта, но с теми же традициями.

Они договорились встретиться через три недели возле пещеры у Звонаревой горы. Эти три недели нужны были Николаю, чтобы разыскать Марию, передать пакет и отлежаться у кого-нибудь из добрых людей.

Незаживающая рана в плече, мытарства и давно не проходящая простуда измотали его до основания. Но это не могло отвернуть его от главной цели – разыскать Кристич. Причем Николай попытался бы найти ее, даже если бы этого конверта не существовало.

Догадывался ли Беркут, что он, Крамарчук, тоже влюбился в Марию? Он не мог этого не заметить.

«Но, может, только поэтому и попросил меня разыскать девушку?! – вдруг осенило Николая. – Хотя какой толк? Она ведь все равно его ждет. Как же мне идти к ней с этим посмертным посланием? И что потом? Ждать, когда, по-вдовьи оплавав своего лейтенанта, в конце концов вспомнит, что рядом находится другой человек, который тоже любит ее?»

Гибель Беркута приближала Крамарчука к мечте, которая еще несколько дней назад казалась несбыточной. Но в этом-то и заключалась вся нечеловечность его счастья. Почему оно должно доставаться ему только такой жестокой, кровавой ценой?!

...Силы оставляли Крамарчука, однако еще несколько километров он брел, почти не осознавая своего пути, переходя от дерева к дереву, переползая от валуна к валуну.

– Но это еще не смерть... – прошептал он, оседая на склон поросшего ельником холма и погружаясь то ли в сон, то ли в бредовое состояние. – Просто я устал... Смертельно устал.

* * *

Проснулся он, когда солнце багровело уже высоко над лесом. «Сколько же я проспал? Когда уснул: вечером? Утром?» В ельнике, куда не проникал ветерок, было не по-осеннему душновато и приятно пахло разогретой хвоей. Вытерев вспотевшее лицо, Крамарчук выбрался из своего убежища, попил из ручейка и побрел по редколесью. Метров двести он прошел, обшаривая взглядом полянки и кустарники, а когда поднял глаза, то увидел, что лес кончился и внизу перед ним открывается каменистая долина, посреди которой чернеют соломенные крыши трех облепленных всевозможными пристройками домов.

«Неужто лесной хутор?! – обрадовался он, осторожно выходя на опушку. – Может, там и немцев-то нет?»

Но вскоре ему открылось еще несколько усадеб, и Крамарчук понял, что перед ним – небольшое село, за которым снова начинается густой лес. «А вдруг это и есть Гайдуковка», – вновь появилась слабая надежда.

Пройдя еще немного по склону, Николай неожиданно заметил сидящего на камне старика. Рядом, на опушке, паслись козы.

Скрываясь за деревьями, сержант осторожно приблизился к пастуху.

– Отец, слышь, отец, – негромко позвал он из-за ствола расколотого молнией клена.

Старик испуганно оглянулся и медленно, тяжело разгибаясь, словно поднимал огромную ношу, попытался встать. – Да не бойся ты! Ничего плохого я тебе не сделаю.

Старик наконец разогнул спину, отступил на несколько шагов и схватился за веревку, которой обе козы были привязаны к одному колышку.

– Не пугайся, говорю, – зло прохрипел Крамарчук. – Не трону я твоих чертовых коз. Как село называется?

– Село? Называется? – пролепетал старик. – Да Лесное, как же ему еще называться?

– Лесное, говоришь? – угасающим голосом переспросил сержант. – Какое еще Лесное? Мне Гайдуковка нужна. Гайдуковка где, я спрашиваю?! – разъяренно выкрикнул партизан, словно это старик был виноват в том, что он заблудился.

– Гайдуковка дальше, за лесом, – показал старик на лес по ту сторону долины. – До нее еще далеко. А ты, гляжу, неместный?

– Ну и что, что неместный? – Николай прислонился спиной к дереву и закрыл глаза. – Сколько до нее километров?

– Шесть. Может, семь. Кто их считал?

«Шесть, семь!.. Как же я пройду столько?! Где взять силы, чтобы пройти еще столько?!»

– Немцы в этом твоём лесном Париже есть?

– Нету их. Позавчера снялись и уехали к аллилуям. Боятся они оставаться здесь, посреди леса. Наезжают только, отбирают, что могут. Коз я вот в лесу прячу. В землянке.

Старику было под семьдесят. Истощенный, с землистым лицом... Не седые, а тоже какие-то землистые, словно присыпанные пеплом, свисающие до плеч волосы. Серая рубаха. Весь серый! А может, это у него в глазах все сереет?

– Ты-то кто такой будешь?

– Уже никто, отец. А когда-то был солдатом. Ранен я. Иду вот. Каким-то чудом все еще иду. Хотя мог бы уже лежать где-нибудь... Партизаны в ваших краях водятся?

– В этом лесу нет. Не слышно. А туда дальше, за Гайдуковкой, иногда появляются. Видели их.

– Мне нужно полежать... Отлежаться... Хотя бы несколько дней, – Крамарчук оттолкнулся от дерева, сделал несколько шагов и почувствовал, что теряет сознание. – Я ранен. Да еще и приболел. Мне бы хоть сутки... Чтобы не на ногах...

– Вижу... Да только сам я тоже... старый и больной. И бабы у меня нет... А тебе уход нужен, – мрачно объяснил старик. – Опять же... Найдут тебя – меня самого к аллилуям.

– Точно, вместе с козами, – отплясывал сержант на угасающих углях своего фронтового юмора.

Но старик не воспринял его.

Выдернул колышек и потащил свою рогатую живность в сторону села.

– Куда же ты?! – попытался удержать его Крамарчук. – Помоги хоть чем-нибудь! Во спасение души, отец! Ну не ты... Так, может, кто другой отважится. Только не оставляй вот так вот, между раем и адом!

– А кто другой? – оглянулся старик. – Кто?! Кругом немцы-полицаи. Да еще, как и в каждом божьем селе, свой сельский иуда на петле-обмылке гадает. У них это быстро. Глядишь, и село сожгут.

– Ох и сволота же ты, дед! – потянулся Николай к кобуре.

Но пистолет, однако, не выхватил. В кого стрелять? В кого стрелять?! В старика, испугавшегося петли карателей?

– Что же ты... оставляя человека на погибель, коз своих спасаешь?! – медленно оседал на каменистый склон пригорка.

28

Почавкивая изношенным мотором, «пежо» ворчливо преодолел еще три изгиба серпантина и, юзом пропахав последние метры, заглох почти у самой двери небольшого придорожного ресторанчика.

– Вы опять удостоили визитом мою «Тарантеллу», княгиня! Для меня это равносильно знаку небес. – В своих коротковатых черных брюках и черном жилете, одетом на безнадежно пожелтевшую от многочисленных стирок, некогда белую рубашу, этот итальянский австриец был похож на старого, основательно подлинявшего пингвина. И ходил он тоже по-пингвиньи, переваливаясь с ноги на ногу и небрежно разбрасывая по сторонам носки до иступления надраенных башмаков.

– Хитрите, господин Кешлер. Для вас это всего лишь равнозначно появлению еще двух столь долгожданных посетителей. Тем не менее приятно, что на этой земле существуют уголки, где тебе все еще рады, – томно то ли упрекнула, то ли похвалила его Мария-Виктория, с королевской величием жертвуя свою руку для ритуального поцелуя.

К подобным словесным поединкам капитан-монах уже привык, а потому, вежливо кивнув рестораннику, который в последнее время исполнял и обязанности официанта – некогда курортные места эти катастрофически опустели, и все конкуренты «Тарантеллы» давно разорились – увлек Сардони к столику, который они занимали всякий раз, когда заглядывали сюда. Привязанность к нему «бедного, вечно молящегося» была вызвана тем, что справа от столика чернела дверь, ведущая на кухню, слева – в подсобку, которые имели запасные выходы. Если к тому же учесть, что в двух шагах зияло прохладой низкое приоткрытое окно на террасу и прекрасно просматривалась входная дверь, то можно было предположить, что стол этот Кешлер приберегал именно для таких гостей, как член ордена братьев Христовых капитан Джеймс Грегори и его спутница.

За террасой призывно рябило море. Залитая солнцем лагуна ностальгически бредила припущенными парусами небольшой рыбацкой шхуны и притаившимися под желто-бурой скалой челнами.

– Странно, что мы до сих пор не стали завсегдатаями этого берегового Эдема, – беззаботно улыбнулась княгиня.

– Как только кончится война, мы приобретем его, – решительно заверил ее капитан-монах. И Мария-Виктория не усомнилась в том, что он действительно принял такое решение.

Пока Кешлер наполнял их бокалы корсиканским вином, сидевшие неподалеку двое пожилых рыбаков в клетчатых рубашках, узлами завязанных на оголенных животах, повернулись к ним, приветствуя красивую пару поднятыми вверх недопитыми бутылками.

– Вы правы, брат Тото: постепенно мы скупим все побережье от Специи до Генуи, – подыграла своему спутнику Мария-Виктория. – Все виноградники, все-все виллы и лагуны, рыбацкие шхуны вместе с пристанями и лабазами.

– Превратив эти земли в общеевропейское независимое княжество княгини Сардони. В отличие от бывшего королевства Сардинии, оно будет называться Сардонией.

– Не понимаю, почему вы произнесли название нового государства с ироничной ухмылкой.

– Помилуй Бог, княгиня, это всего лишь показалось.

– Еще раз замечу нечто подобное, и с постом премьера Сардонии можете распрощаться.

– Я-то претендовал всего лишь на пост начальника личной охраны великой княгини Сардони. Уступая все остальные посты людям более тщеславным.

– Синьор Кешлер, – обратилась Мария-Виктория к владельцу, – когда кончится война и я скуплю все итальянское побережье Лигурийского моря, вы согласитесь стать первым подданным нового княжества Сардонии?

– Узнав о ваших планах, сицилийская мафия будет крайне огорчена, – кротко признал ресторанный повар, подавая рыбакам две тарелки с жареной рыбой, вид которой почему-то вызвал у них вздохи разочарования. Уже хотя бы потому, что эти рыбы были пойманы не ими.

– Кажется, мы действительно забыли о мафии, – взглянула княгиня на своего «начальника личной охраны».

– Кто бы напомнил о ней, не будь здесь этого старого мафиози Кешлера, – проворчал Тото. Всякое упоминание о мафии, как, впрочем, и об обычных местных налетчиках, которых развелось в последнее время великое множество, возрождало в нем чувство досады. Эта часть человечества явно не вписывалась в его боголюбиво-разведывательные планы, согласно которым монашествующий капитан имел твердое намерение закрепиться на берегах Лигурийского моря на многие послевоенные годы. Независимо от взглядов на его привязанность к этим краям лондонских шефов.

Их игривое фантазирование было прервано появлением рослого подтянутого синьора в сером костюме, сером галстуке и серой шляпе. Лицо его показалось княгине столь же серым и невыразительным, как и все остальное. Что, однако, не помешало синьоре сразу же обратить внимание на подчеркнуто воинственную выправку нового посетителя «Тарантеллы».

«Кто он?» – взглядом спросила она возникшего из-за кухонной двери австрийца.

«Впервые вижу», – условленным движением бровей ответил тот.

– Судя по выправке и типу лица – германец, – вполголоса произнес Тото, стараясь делать вид, будто любитесь декольтированной грудью своей соседки. Княгиня знала эту его коварную привычку: конспирироваться, демонстративно любясь красотой ее груди.

По тому, что пришелец решил отделаться всего лишь «стаканом вина, без закуски, и побыстрее», разведчики легко определили, что он боится увлечься чревоугодием и упустить их. Вот почему ни Мария-Виктория, ни монашествующий британский разведчик Джеймс Грегори не удивились, когда серо-стального цвета «мерседес» нового посетителя «Тарантеллы» двинулся по шоссе вслед за ними.

– Странно, – молвила княгиня Сардонии, наблюдая за «хвостом» в свое зеркальце, в которое смотрелась, подкрашивая губы. – Два агента итальянской разведки служат у меня в охране. Причем один – верноподданный короля, второй – дуче. Английская разведка представлена досточтимым монахом Тото...

Услышав это, Джеймс Грегори чуть не выпустил руль. Он, конечно, предчувствовал, что княгиня догадывается, кто он. Однако от громогласных изобличений владелица «Орнезии» до сих пор милостиво воздерживалась.

– Американский громила-диверсант, из бывших морских пехотинцев, нанялся мотористом на мою яхту и сторожем на побережье. У француза-садовника, прибывшего на «Орнезию» из Алжира, на лбу написаны полугодовые курсы в деголлевской разведшколе. Тогда кто у нас на хвосте? Русский?

– Вы забыли о своих германских попечителях, княгиня.

– А наш «домовой мастер на все руки» с типично «русской» фамилией Батнер?

– Всего лишь мелкий соглядатай с не менее «русской» фамилией Гофман. – Давно удивляюсь, почему служба имперской безопасности столь несмело подступает к вам.

– Мне-то казалось, что на это есть кое-какие особые причины, – упрятала зеркальце в сумочку Мария-Виктория.

– «Кое-какие» – да... – не без ревности подтвердил Тото, имея в виду того же, кого имела в виду сама княгиня, – «первого диверсанта рейха» Отто Скорцени.

29

Взобравшись в вагон, Беркут сразу же протиснулся к задней стенке, за которой, как он заметил, не было тамбура для часового, и, пока дверь не закрылась, незаметно для окружающих, тем не менее, тщательно прощупал доски в полу и в стенке. Одна из них, та, что была напротив буфера, показалась ему подгнившей и чуть-чуть потоньше остальных.

Как только эшелон тронулся, Андрей осмотрел в щелку между досками задней стенки соседний вагон. Нет, охранника там тоже не оказалось. Это сразу же придало ему уверенности. Лейтенант понимал, что более удобный случай ему вряд ли подвернется. Божест-вен-но!..

– Ты что, всерьез считаешь, что отсюда можно вырваться? – насмешливо поинтересовался какой-то парень, усевшийся слева от Андрея.

– Все зависит от нас. Захотим – вырвемся.

– А что, есть такие, что не хотят? – продолжал пленный в том же духе.

– Хотят, но не пробуют, а посему грош цена всем их мечтаниям. А теперь не мешай.

– Вдруг помогу, понадобится, гори оно все церковными свечами.

Беркут задумался. Он знал, что немцы довольно часто подсаживают в вагоны, камеры и бараки своих агентов. Но как сейчас проверишь? Риск есть риск.

– Начнем с имени, звания и всего прочего.

– Кирилл Арзамасцев. При лычке ходил. Ефрейтором уважали. Но когда это было! Почти год скитаюсь по лагерям.

– То-то вижу: прижился ты у них.

– Побегашь, побегашь – и тоже приживешься, – огрызнулся Кирилл.

– Ладно, не бычься. Потом разбираться будем. Пока что задача твоя – как только можешь, отвлекай любопытных... Боюсь, как бы здесь не оказалось провокатора.

– Такие всегда найдутся.

– Тогда что, бежим вместе?

– В чем мать родила? Очень далеко ты убежишь? Тут кругом немчура да полицаи. Пристрелят, не спросивши, кто и откуда.

– Уговаривать не стану. Время еще есть, решай.

На кисти левой руки у Беркута была намотана тряпка, на которую никто из охранников, не обратил внимания: думали, что перевязана рана или стянуты связки. Сейчас Андрей разматывал ее и туго намотал на конец лезвия, создав некое подобие рукоятки. Как он признателен Юзефу за этот подарок! Знать бы: спасся лагерный фотограф-парикмахер? Вряд ли.

30

По мере того как машина спускалась с небольшого, поросшего соснами перевала, чаша горной долины раскрывалась, словно огромный голубовато-зеленый бутон. Санаторий – два трехэтажных корпуса с несколькими одноэтажными флигелями и хозяйственными постройками под островерхими черепичными крышами – возник на берегу озерца как-то неожиданно, нарушая царившую в этой скалистой пиале естественную гармонию неочеловеченного бытия.

– Богема воинства СС, – с непонятной Власову иронией произнес Штрик-Штрик-фельдт. – Мне пришлось побывать здесь только однажды. Не в качестве курортника, естественно. Если сюда и допускают неэсэсовцев, то лишь очень высокого ранга. Я же блаженствовал здесь в качестве личного гостя начальника санатория фрау Биленберг. Но не в этом дело, – поспешно уточнил капитан. – Главное, что после этого посещения я месяца три только и бредил окрестными красотами. И вы готовьтесь к тому же.

Капитан вопросительно взглянул на командующего, но тот предпочел отмолчаться.

Теперь шоссе спускалось по крутому серпантину, и генерал чувствовал себя, как пилот в пикирующем бомбардировщике. Упершись руками в приборную доску, он мрачно созерцал некогда пленившие капитана красоты, не воспринимая их и даже не стремясь преломить это свое меланхоличное невосприятие.

Истинный военный, он не умел радоваться дням затишья, проведенным в глубоком, постыдно безмятежном тылу, в то время, когда миллионы его собратьев испытывают свою судьбу в окопах.

Впрочем, какое отношение он имеет сейчас ко всему тому, что происходит на европейских фронтах? И на востоке, и на западе сражаются совершенно чужие ему армии. Одну из них – генералом которой был – он предал. Другая не приняла его. Остальные, как он понимает, безглаголиво отвернулись.

– Много их там сейчас? – угрюмо и явно запоздало спросил генерал, как только машина вышла из «пике», чтобы приблизиться к санаторию по каменистому побережью озера, оказавшемуся значительно большим, нежели это представлялось с высоты серпантина.

– Два десятка высших офицеров. В основном после тяжелых ранений. Кстати, именно здесь оттаивал когда-то после подмосковных морозов сорок первого известный вам Отто Скорцени.

Услышав имя обер-диверсанта рейха, генерал оживился и взглянул на корпуса «Горной долины» совершенно иными глазами.

– Санаторий будет гордиться этим, как всякий уважающий себя храм гордится мощами святого.

– Уже гордится. Правда, злые языки утверждают, что командир дивизии «Рейх» сослал сюда своего любимца Скорцени только потому, что хотел спасти от русской гибели. Слишком уж несолидной оказалась болезнь!

– Об этом забудут, – решительно вступился за Скорцени генерал. – Как и о многом другом. А легенда о «самом страшном человеке Европы» останется.

Капитан задумчиво кивнул.

– Легенда – конечно...

«Когда-нибудь кто-нибудь обязательно скажет: “В свое время здесь отсиживался во время генеральского путча в Берлине командующий РОА генерал Власов”, – мелькнуло в сознании командующего. – Так и будет сказано: “Отсиживался”. И все справедливо. Но должен же найтись человек, который и за меня тоже вступится. Должен».

На одном из виражей машину слегка занесло.

– Не может ли случиться так, что в эти смутные дни рейха Скорцени предпочтет отсидеться здесь? – спросил вдруг Власов. – Теперь уже после «берлинской жары». Чтобы остаться не втравленным ни в какие события?

– Исключено, – уверенно ответил Штрик-Штрикфельдт. – На чьей бы стороне он ни оказался, вырваться из Берлина первый диверсант рейха уже вряд ли сможет. А неплохое было бы соседство... – мечтательно взглянул на генерала. – Оч-чень неплохое.

– Не вовремя затеяли вы все эти маневры с путчем, – недовольно проворчал Власов, словно подозревал, что повинен в этом сам капитан. – Слишком не вовремя. Не придаст это авторитета рейху ни в германском народе, ни по ту сторону бруствера.

– Спортсменам давно известно такое явление: тренер – талантливый, любимый спортсменом – передал своему подопечному все, на что был способен, довел до той вершины, о которой мечтал сам... И на этом его миссия завершается. Он обязан уступить место новому тренеру. С более смелыми замыслами и большими возможностями. То же самое происходит и в обществе. Нужен новый вожак. Стая давно желает и давно способна на большее, нежели составившийся выдохшийся вожак.

– Теоретически это... верно.

– Сразу же должен предупредить, что я не принадлежал к тому кругу, который решил во что бы то ни стало... Однако любые общие размышления требуют, чтобы время от времени мы все же обращались к реалиям.

«Винят всегда вожака, – проворчал про себя Власов. – Так принято. И редко задумываются над тем, какая же стая ниспослана ему Господом». Но думал при этом вовсе не о стае, однажды сплотившейся вокруг фюрера, а о той стае, которую еще только предстоит по-настоящему сплотить ему самому.

В фойе их встретила широкоплечая дама с заметно отвисающим подбородком и широкоскулым прыщеватым лицом. Она почему-то не сочла необходимым представиться, а лишь скептически осмотрела русского генерала и, приказав следовать за ней, повела по коридору к предназначенному для Власова номеру.

– Она? – вполголоса по-русски спросил командующий Штрик-Штрикфельдта, кивая в сторону гренадерской спины женщины.

– Что вы, генерал?! – ужаснулся тот. – Это всего лишь фрау...

– Кердлайх, – невозмутимо подсказала ему медсестра, не оглядываясь и не сбавляя шага.

Власов облегченно вздохнул. Если бы эта немка оказалась той самой вдовой, с которой капитан желал познакомиться его, он счел бы такие попытки оскорбительными.

Перед окном палаты, в которой его поселили, уползал ввысь бурый разлом скалы, рваный шрам которого затягивался мелким кустарником и рыжевато-зеленой порослью мха. Власов почему-то сразу же уставился на него, словно узник – на квадрат очерченного решеткой неба, и несколько минут простоял молча, не обращая внимания ни на капитана, ни на задержавшуюся у двери фрау Кердлайх.

– Этот ваш русский понимает хоть что-нибудь по-немецки? – спросила Кердлайх уже из-за двери резким, вызывающим тоном, давая понять, что вовсе не собирается создавать для русского генерала какие-либо особые условия.

– Почти все, – негромко ответил Штрик-Штрикфельдт. А затем, выдержав философскую паузу, уточнил: – Почти как вы – русский. Если только это поддается его пониманию.

– Но то, что ему оказана честь находиться в санатории войск СС, он, надеюсь, понимает?

– Это ему объяснит сама фрау Биленберг. Уверен: они поймут друг друга.

– Сама фрау Биленберг? – мгновенно смягчила тон медсестра. – Это несколько меняет ситуацию.

– Кстати, она у себя?

– Она всегда у себя, – назидательно заверила Кердлайх и, чинно повернувшись, грузно промаршировала в конец коридора, к лестнице, ведущей на второй этаж.

Оглянувшись, Власов прошелся по капитану сочувственным взглядом: что-то там у него срывалось с его вдовой-невестой. Однако самого командующего это пока не огорчало. Для начала следовало бы взглянуть на фрау-начальницу.

– Может, потребовать, чтобы окна вашей комнаты выходили на озеро, а не на безжизненную скалу? – мрачно спросил Штрик-Штрикфельдт у вышедшего в коридор генерала и поприветствовал проходящего мимо них обер-штурмфюрера СС. Тот заметно тянул ногу и, похоже, форму свою донашивал последние дни.

– Нет уж, скала, расщелина... Как раз то, что мне хочется видеть в эти минуты.

– Мрачновато все это начинается у нас. А не должно бы.

– Я – в соседней палате. И если что... Но прежде всего пойду представлюсь фрау Биленберг. Что-то она не слишком гостеприимно встречает нас.

– Единственно, что меня сейчас интересует – это события в Берлине. Я должен знать все. Для меня важна расстановка сил, которая сложилась после путча. Мне совершенно безразлично, кто удержался в своем кресле, а под кем оно рухнуло.

– Будьте уверены, что рухнет оно под многими. Их чиновничьи кресла поразительно напоминают теперь табуреты под ногами висельников.

Во время обеда в столовой санатория Власов чувствовал себя уродом, поглазеть на которого сбежалось все досточтимое население городка. Несмотря на то что Штрик-Штрикфельдт принял все меры к тому, чтобы в санатории не догадались, кто скрывается под вымышленным именем, под которым Власов прибыл сюда, наиболее любопытствующие обитатели довольно быстро установили, что это командующий РОА. Одни уже немало знали о нем, другие еще только пытались понять, что это за такой русский, который решил создать армию, чтобы воевать против русских же. Однако и те и другие, не таясь, любопытствовали, стараясь следить за каждым его шагом.

– Нельзя ли договориться с вашей знакомой, чтобы обед мне приносили в палату? – кончилось терпение Власова. – В худшем случае мне придется появляться в столовой уже после того, как вся эта рать тевтонская насытится.

– Среди прочего поговорю с Хейди и об этом, – пообещал Штрик-Штрикфельдт. Но пока что она избегает встречи с нами.

– Завидное отсутствие любопытства.

– Не сказал бы. Уж что-что, а любопытство свое она уже в какой-то степени удовлетворила, – и, слегка подтолкнув генерала, он едва заметно перевел взгляд на полупрозрачную портьеру, которой была занавешена дверь, ведущая в соседнюю комнату.

Власов оглянулся и отчетливо увидел за ней два женских силуэта. Один из них, как ему показалось, принадлежал фрау Кердлайх. Другой был поизящнее, и Власов поневоле задержал на нем взгляд.

– Вполне согласен с вами, господин командующий, – поддержал его молчаливое восхищение Штрик-Штрикфельдт, скабрезно ухмыльнувшись при этом.

Поняв, что генерал заметил их присутствие, обе женщины четко, по-военному повернулись кругом и не спеша удалились.

31

...Близился к закату второй день их пути. Люди, находившиеся в одном вагоне с Беркутом, пели, горевали, пересказывали свои судьбы, а то и пытались шутить. Одни с горечью предвещали, что из Германии им уже не дернуться, другие, наоборот, успокаивали себя, утверждая, что в общем-то им еще и здорово повезло: у немца на заводах с рабочей силой туга, а значит, и кормить станут получше, чем в лагере, и про ликвидационные команды забудут.

Андрея удивляло, что большинство из них, в сущности, смирилось с тем, что их позорно, нагишом увозят в чужие земли; что они в неволе и что отсюда им уже не вырваться. А смирившись, даже не помышляют о побеге. По крайней мере, до сих пор никто из них не попытался предпринять ничего такого, что помогло бы ему вырваться на свободу.

Удивляться Беркут удивлялся, однако в разговоры-споры не вступал. Почти все это время (лишь поздней ночью его дважды подменял Кирилл) резал, пилил, крошил доски, доводя их до такого состояния, чтобы до воли оставалось всего лишь несколько сильных ударов.

Еще одна станция.

Беркут прекратил крошить, прислушался, насторожился.

«Только бы не здесь! Еще хотя бы часик пути! – молил он судьбу, в которую уже начинал понемногу верить. – Иначе все полетит к чертям собачьим. Из лагеря бежать сложнее».

Со скрежетом отодвинулась дверь. В вагон взобрались четверо солдат. Двое остались у входа, двое других скомандовали: «Вон от двери, свиньи! Лежать!» – и принялись ходить по вагону, умышленно задевая лежащих коваными сапогами.

Беркут сел, прижавшись спиной к подпиленным доскам и упершись кулаками в пол. Так легче будет подхватиться и вступить в схватку. Пусть последнюю, но схватку.

Немцы освещали фонариками каждый закуток. В нескольких местах даже простучали металлическими прутами пол и стенки вагона.

«Неужели кто-то донес? Да вроде бы нет, не похоже. Обычный профилактический осмотр, – размышлял Беркут, согревая телом “свои” доски и притворяясь спящим. – Даст бог, обойдется без предателя».

На лице его луч фонарика задержался как-то особенно долго, однако пробираться к нему через тела других пленных немец почему-то не стал. В то же время по долетавшим до него голосам, по разговору вагонных осматривщиков Андрей установил, что находятся они где-то в районе Судет, поскольку железнодорожники общались между собой странной смесью польских, немецких и, очевидно, словацких или чешских слов.

Луч фонарика ушел влево, но потом снова метнулся к его лицу. Что-то не нравилось в нем гитлеровцу, какое-то предчувствие встревожило его. Рука вздрогнула, луч подскочил вверх, и полуослепленный лейтенант заметил, как немец рванул к животу сбившийся за спину шмайсер.

«Господи, но не сейчас же!» – взмолился Беркут.

– Эй,дохлые есть?! – спасительным божьим гласом ворвался в вагон хамовитый унтерский голос. Тот, кто спрашивал, стоял у двери, вне вагона, однако своим вопросом он отвлек внимание всей группы охранников.

– Пока нет! – ответил ему немец, застрявший напротив Беркута. – Что весьма странно.

– Эти – отборные, – возразил унтер. – Им положено жить. Пусть подышают за станками.

Именно эти слова, очевидно, окончательно охладили охранника, застрявшего напротив Беркута.

– Вонючие черви, – сплюнул он в сторону лейтенанта. – Перестрелять бы вас, как собак...

И все же стрелять не стал. Вновь в бессильной злобе сплюнул, теперь уже прямо на ногу Андрею, и, погасив фонарик, исчез во мраке.

«Вот теперь все! – торжествующе сжал кулаки Беркут. – Теперь вы меня не возьмете! Я залью эту землю вашей поганой кровью».

32

Сталин уже собрался оставить свой кабинет, когда на пороге вдруг появился секретарь.

– Просит принять полковник Колыванов, – сухо, лаконично доложил он.

– Кто такой этот Колыванов? – спросил вождь, не вынимая изо рта трубки, а лишь придерживая ее кончиками пальцев.

– Из органов. О нем вы просили докладывать сразу же, в любое время суток.

– Так ведь из органов же... – мрачно пошутил Сталин. – Попробуй не доложи, не прими.

Секретарь давно заметил, что когда «отец народов» начинал шутить, кавказский акцент его звучал выразительнее и жестче, а когда злился – наоборот, русская речь его становилась на удивление правильной. Слова он начинал произносить с такой старательностью, будто пытался подчеркнуть языковую небрежность, проявляемую всем его ближайшим окружением.

В то же время все, кто близко знал вождя, знали и то, что страшнее всего он бывает именно тогда, когда у него вдруг начинал прорезаться мрачный кавказский юмор. Вместе с ним срабатывала и столь же мрачная необузданная фантазия, заносившая диктатора то в сети маниакального подозрения, то на пуанты щедрости – и тогда возвышение одних вершилось на крови и костях других.

– Таковым было ваше распоряжение, товарищ Сталин, – зачем-то попытался оправдаться секретарь.

За окном сгущались вечерние сумерки, а во дворе ждала машина, которую Сталин вызвал, намереваясь провести завтрашнее воскресенье на своей загородной даче. Это был один из тех немногих военных выходных, когда «отец народов» позволял себе отдохнуть, подчиняясь при этом одной из им же в порыве кавказского юмора сотворенных формул: «Кагда тава-рыщ Сталын атдыхает, страна можэт аблэгченно вздохнуть». Наподобие известного: «Когда русский царь спит, Европа может подождать».

Армия, Верховным Главнокомандующим которой он являлся, уже была обречена на победу, поэтому Сталин мог разрешить себе подобный отдых, точно так же, как в любое иное время позволял себе подобные фюрерские шуточки.

– Скажи этому, из органов, что мы пагаварым в машинэ.

Секретарь «аблэгченно вздохнул», бросил: «Будет доведено, товарищ Сталин» – и, повернувшись кругом, удалился.

Маршал вернулся к столу. Очистив трубку от пепла угасающего курева, он вновь набил ее ароматизированным табаком, закурил и, остановившись у края длинного приставного стола, какое-то время смотрел на свое пустующее кресло. Сейчас он чувствовал себя так, будто попал в свой рабочий кабинет-музей, вернувшись из-под Кремлевской стены¹¹.

Чувственный ход его мыслей выражался при этом предельно упрощенными представлениями. Когда-нибудь сюда вот так же войдет тот, кто сменит его на посту генсека и Верховного. Остановится так же, как стоит сейчас он, Сталин, и попытается задаться самым важным не только для него, но и для всех руководящих партийцев вопросом: «Как вернуть партии тот авторитет вождя мирового пролетариата, который был сотворен товарищем Сталиным? Как он сумел создать его? В чем тут «сэкрэт»?

Для Сталина не было «сэкрэтом», что все, кто мог претендовать на разгадку этого «сэкрэта», давно истреблены «передовым отрядом партии» как враги народа. Тех же, кто попытается вознестись над массами на энтузиазме «всенародной победы над фашизмом», он еще сумеет отправить – кого под Кремлевскую стену, кого в Забайкалье. Он не любил, когда в стране

¹¹ Более молодым читателям нелишне напомнить, что в годы Советской власти у Кремлевской стены и в самой стене коммунисты хоронили тех своих лидеров, которые каким-то чудом избежали сталинских концлагерей.

появлялся некто, кого в партии и в массах начинали любить. Один народ, одна партия, один вождь. И все тут!

«Один мир – один правитель». Партия, у которой появляется несколько «любимцев», тотчас же оказывается отданной на растерзание фракционных болтунов. Страна, в которой функционирует несколько партий, оказывается отданной на растерзание классовых и внешних врагов. Почему не все большевики понимают это? Какой еще «сэкрэт» они хотят постичь?

Да, полковник Колыванов... Сталин вспомнил его. Тот самый полковник, которому он поручил лично заняться информационным источником, находящимся в канцелярии Бормана. Их беседа состоялась три месяца назад. Колыванов расследовал тогда обстоятельства, связанные с провалом разведывательной группы в Германии, непосредственное руководство которой осуществлялось резидентурой, находящейся в Швейцарии. Но еще до ликвидации этой группы резиденту в Берне стало известно, что на одного из его швейцарских информаторов напористо выходит кто-то из очень близкого окружения Бормана. Если только не сам Борман. Причем оставалось загадкой, каким образом этот агент-нелегал был «вычислен».

Докладывал Сталину об этом начальник военной разведки Генерального штаба армии генерал Голиков. Однако «отцу народов» доклад показался не слишком уверенным, без достаточного анализа и версий. Именно поэтому он потребовал, чтобы к нему явился полковник Колыванов.

Впрочем, соображениям полковника особого значения он вначале тоже не придал. И так было ясно: верхушка рейха осознает, что война проиграна, а коль так, в окружении фюрера должны были найтись люди, попытающиеся спастись путем предательства своего кумира. Правда, Сталин не предполагал, что люди, решившиеся пойти на сговор с Советским Союзом, могут обнаружиться даже среди первой гитлеровской когорты. Но поскольку полковник упрямо склонялся к тому, что за источником из партийной канцелярии фюрера стоит сам рейхслейтер Борман, этот факт становился интересным сам по себе, независимо от мотивов действий заместителя Гитлера и его возможностей как будущего агента. И вот теперь Сталин вспомнил, что он действительно приказал тогда допускать к нему Колыванова в любое возможное время.

Вождь вновь перевел взгляд на пустующее кресло генсека и Верховного Главнокомандующего. Он давно развеял миф о том, что будто бы к мнению ЦК партии большевиков Смерть больше не прислушивается. Не только прислушивается, но и выполняет его указания. Но лишь тогда, когда тот или иной товарищ «предал дэла партыи», стал «врагом народа» или просто «не понял новой линии ЦК». Другое дело, что предотвратить естественный ее приход никакое ЦК не в состоянии. Все еще не в состоянии. Хотя казалось бы... Какая еще власть нужна ему, чтобы отвернуть гнев силы земной и небесной?

«Сюда, – молвил себе Сталин, глядя воспаленным взором на свое кресло, – должен будет прийти такой человек, который бы конечно же сохранил завоевания революции, но о котором товарищи по партии сказали бы: «Нет, эта не таварищ Сталин. В лице товарища Сталина партия патеряла такого руководителя, такого вождя... Что восполнить эту потерю уже невозможно. Не прав был таварищ Сталин, утверждая, что незаменимых людей у нас нет! Эта было единственное, в чем великий вождь и учитель оказался неправ».

Сталин иронично и в то же время желчно улыбнулся и в последний раз окинул взглядом кабинет, словно уже сейчас прощался с ним навсегда. Теперь он все чаще, не стесняясь, как прежде, самого себя, прибегал к той фразеологии, которой пользовались в своих передовицах «Правда» и прочая «партийно-журналистская проституция», как иногда позволял себе выражаться в узком кругу Владимир Ильич. Но при этом у него хватало и иронии, чтобы понимать, что таким образом творится очередной миф о вожде Сталине точно так же, как сам он когда-то творил миф о вожде Ленине, к образу которого до сих пор приходится прибегать в партийных спорах. Подобно тому, как к образу Иисуса Христа прибегают в спорах библейских. Но у него

хватало и достаточно мудрости, чтобы понимать: миф о мудром вожде нужен этому темному, забитому народу так же, как колокольчик на шее у вожака стада.

«Не прав был товарищ Сталин, утверждая, что незаменимых людей у нас нет! Это было единственное, в чем великий вождь и учитель оказался неправ», – повторил Коба, мстительно улыбаясь надвигающейся на него вечности.

33

Очнулся Крамарчук лишь через сутки. В глазах все еще мутилось, но, стиснув зубы, сержант внимательно разглядывал комнату крестьянского дома: полотенце на спинке кровати, темные занавески, сквозь которые едва-едва пробивались красноватые отблески предвечернего солнца; задымленная печь, отдававшая мягким домашним теплом, совершенно не похожим на чадный жар костров...

– Что, семя иродово, ожил? – появилась на пороге сторбленная, но все еще довольно высокая женщина, должно быть хозяйка. – А говорили, что не стоило тебя и в дом заносить.

– Злые языки, – покачал головой Крамарчук и попытался улыбнуться. – Кто вам сказал обо мне? Кто притащил сюда?

– Тот самый козопас, Федор Рогачук. Сперва, ирод, бросил тебя в лесу, а потом, ишь, спохватился. Идем, говорит, Ульяна, поглядим: там у леса партизан раненый. Переночевать просится. Ну и пошли. Видим: ты уже «ночуешь»... Считай, вечным покоем, – ворчала она, помешивая что-то в закопченном котелке.

– Выходит, он все же святой, божий человек. Зря я за пистолет хватался.

– За пистолет – на это у вас, семя иродово, ума хватает. Хватило бы на что иное. Хата моя – крайняя: хорошо, если никто не видел, как волокли тебя.

– Доносчики? Помню, старик говорил...

– Всякие есть. В селе, как в селе. Рану я тебе промыла. Если еще где болит – покажи. Я тут и за ведьму, и за знахарку.

– Фельдшеры у вас, конечно, не водятся?

– Какие еще фельдшеры, иродова твоя душа?! – возмутилась старуха, грохнув крышкой котелка. – Их сюда и до войны черти не заносили. Кто не хотел помирать, у ведьмы Ульяны лечился. Так было и так будет.

– Я как раз из тех, не желающих... – попытался улыбнуться сержант.

В это время дверь отворилась и вошел тот самый старик, с которым Крамарчук встретился вчера на опушке. Николай сразу же признал его.

– Спасибо, отец-спаситель, – приподнялся он, чтобы лучше разглядеть козопаса.

– Нужно мне твое спасибо? – пробормотал Рогачук, поставив на стол кувшин. – Носит вас лесами... Не спасал я тебя, не приносил сюда. Не видывал и не слыхивал, понял? А ты, ведьма старая, коптилку зажги, а то темно, как в преисподней.

– Лучше бы керосина принес, молодежавый.

– Не спасал я тебя, – снова заговорил старик, обращаясь к сержанту уже с порога. – Все вы герои, пока по лесам шастаете. А как поймают да возьмут за одно место...

– Не бойсь, отец-спаситель, я молчаливый.

– Семя иродово! Такое старое, что и могила не принимает, а гляди ж ты, и оно смерти боится! – искренне удивилась Ульяна, когда двери за Рогачуком закрылись. – Хотя что правда, то правда: за партизан немцы не милуют. Староста бумагу читал: будете помогать партизанам – немцы сожгут село. Ближе они тут. Вон, в Гайдуковке полно их. И полицаев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.